

**БЕНЖАМЕН
КОНСТАН**

АДОЛЬФ

Бенжамен Констан Адольф

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24710816

Аннотация

«Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему; в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть, призывал в ареопаг свой и Баратынского, подвергал вам свои сомнения и запросы и руководствовался угадыванием вашего решения. Не страшитесь однако же, ни ты, ни он: не налагаю на вас ответственности за худое толкование молчания вашего. Иначе моя доверенность к вам была бы для вас слишком опасна, связывая вас взаимным обязательством в случайностях предприятия моего...»

Содержание

От переводчика	5
Предисловие	16
От издателя[2]	19
Глава первая	22
Глава вторая	30
Глава третья	44
Глава четвертая	54
Глава пятая	65
Глава шестая	77
Глава седьмая	87
Глава осьмая	98
Глава девятая	109
Глава десятая	115
Письмо к издателю	129

Бенжамен Констан

Адольф

Прими мой перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу великому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, принявшись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду твоему; в борьбе иногда довольно трудной мысленно вопрошал я тебя, как другую совесть, призывал в ареопаг свой и Баратынского, подвергал вам свои сомнения и запросы и руководствовался угадыванием вашего решения. Не страшитесь однако же, ни ты, ни он: не налагаю на вас ответственности за худое толкование молчания вашего. Иначе моя доверенность к вам была бы для вас слишком опасна, связывая вас взаимным обязательством в случайностях предприятия моего.

Что бы ни было, дар, мною тебе подносимый, будет свидетельством приязни нашей и уважения моего к дарованию, коим радуется дружба и гордится отечество.

К. Вяземский.

Село Мещерское (Саратовской г.)

1829 года.

От переводчика

Если бы можно было еще чему-нибудь дивиться в странностях современной литературы нашей, то позднее появлении на Русском языке романа, каков *Адольф*, должно бы было показаться непонятным и примерным забвением со стороны Русских переводчиков. Было время, что у нас все переводили, хорошо или худо, дело другое, по крайней мере охотно, деятельно. Росписи книг, изданных в половине прошлого столетия, служат тому неоспоримым доказательством. Ныне мы более нежели четвертью века отстали от движений литератур иностранных. *Адольф* появился в свет в последнем пятнадцатилетии: это первая причина переселения его на Русскую почву.

Он в одном томе – это вторая причина. Переводчики наши говорят, что не стоит присесть к делу для подобной безделицы, просто, что не стоит рук марать. Книгопродавцы говорят в свою очередь, что не из чего пустить в продажу один том, ссылаясь на обычай нашей губернской читающей публики, которая по ярмаркам запасается книгами, как и другими домашними потребностями, в прок так, чтобы купленного сахара, чая и романа было на год, вплоть до новой ярмарки. Смирненное, однословное заглавие – есть третья причина безызвестности у нас *Адольфа*. Чего, говорят переводчики и книгопродавцы, ожидать хорошего от автора, который не

сумел приискать даже заманчивого прилагательного к собственному имени героя своего, не сумел, щеголяя воображением, поразцветить заглавия своей книги.

Остроумный и внимательный наблюдатель литературы нашей говорил забавно, что обыкновенно переводчики наши, готовясь переводить книгу, не советуются с известным достоинством её, с собственными впечатлениями, произведенными чтением, а просто наудачу идут в ближайшую иностранную книжную лавку, торгуют первое творение, которое пришлось им по деньгам и по глазам, бегут домой и через четверть часа пером *уже скрывают по заготовленной бумаге*.

Можно решительно сказать, что *Адольф* превосходнейший роман в своем роде. Такое мнение не отзывается кумовством переводчика, который более, или упрямее самого родителя любит своего крестника. Оно так и должно быть. Автор, не смотря на чадолубие, может еще признаваться в недостатках природного рождения своего. Переводчик в таком случае движим самолюбием, которое сильнее всякого другого чувства: он добровольно усыновляет чужое творение и должен отстаивать свой выбор. Нет, любовь моя к *Адольфу* оправдана общим мнением. Вольно было автору в последнем предисловии своем отзываться с некоторым равнодушием, или даже небрежением о произведении, которое, охотно верим, стоило ему весьма небольшого труда. Во-первых, читатели не всегда ценят удовольствие и пользу свою по мере пожертвований, убытков времени и трудов, понесенных

автором; истина не более и не менее истина, будь она плодом многолетних изысканий, или скоропостижным вдохновением, или раскрывшимся признанием тайны, созревшей молча в глубине наблюдательного ума. Во-вторых, не должно всегда доверять буквально скромным отзывам авторов о их произведениях. Может быть, некоторое отречение от важности, которую приписывали творению сему, было и вынуждено особенными обстоятельствами. В отношениях Адольфа с Элеонорою находили отпечаток связи автора с славною женщиною, обратившею на труды свои внимание целого света. Не разделяем сметливости и догадок добровольных следователей, которые отыскивают всегда самого автора по следам выводимых им лиц; но понимаем, что одно разглашение подозрения в подобных применениях могло внушить Б. Констану желание унижить собственным приговором цену повести, так сильно подействовавшей на общее мнение. Наконец, писатель, перенесший наблюдения свои, соображения и деятельность в сферу гораздо более возвышенную, Б. Констан, публицист и действующее лицо на сцене политической, мог без сомнения охладеть в участии своем к вымыслу частной драмы, которая, как ни жива, но все должна же уступить драматическому волнению трибуны, исполинскому ходу *стодневной эпопеи* и романическим событиям современной эпохи, которые некогда будут историей.

Трудно в таком тесном очерке, каков очерк *Адольфа*, в таком ограниченном и, так сказать, одиноком действии бо-

лее выказать сердце человеческое, переверотить его на все стороны, выворотить до дна и обнажить наголо во всей жалости и во всем ужасе холодной истины. Автор не прибегает к драматическим пружинам, к многосложным действиям, в сим вспомогательным пособиям театрального, или романического мира. В драме его не видать ни машиниста, ни декоратора. Вся драма в человеке, все искусство в истине. Он только указывает, едва обозначает поступки, движения своих действующих лиц. Все, что в другом романе было бы, так связать, содержанием, как-то: приключения, неожиданные перепонки, одним словом, вся кукольная комедия романов, здесь оно – ряд указаний, заглавий. Но между тем, во всех наблюдениях автора так много истины, пронизательности, сердцеведения глубокого, что, мало заботясь о внешней жизни, углубляешься во внутреннюю жизнь сердца. Охотно отказываешься от требований на волнение в переворотях первой, на пестроту в красках её, довольствуясь, что вслед за автором изучаешь глухое, потаенное действие силы, которую более чувствуешь, нежели видишь. И кто не рад бы предпочесть созерцанию красот и картинных движений живописного местоположения откровение таинств природы и чудесное сошествие в подземную святыню её, где мог бы он, проникнутый ужасом и благоговением, изучать её безмолвную работу и познавать пружины, коими движется наружное зрелище, привлекавшее любопытство его?

Характер Адольфа верный отпечаток времени своего. Он прототип Чайльд Гарольда и многочисленных его потомков. В этом отношении творение сие не только роман *сегоднешний* (roman du jour), подобно новейшим светским, или го-стинным романам, оно еще более роман века сего. Говоря о жизни своей, Адольф мог бы сказать справедливо: день мой – век мой. Все свойства его, хорошие и худые, отливки совершенно современные, Он влюбился, соблазнил, со-скучился, страдал и мучил, был жертвою и тираном, само-отверженцем и эгоистом, все не так, как в старину, когда общество движимо было каким то совокупным, взаимным эгоизмом, в который сливались эгоизмы частные. В стари-ну первая половина повести Адольфа и Элеоноры не мог-ла бы быть введением к последней. Адольф мог бы тогда в порыве страсти отречься от всех обязанностей своих, всех сношений, повергнуть себя и будущее свое к ногам люби-мой женщины; но, отлюбив однажды, не мог бы и не должен он был приковать себя к роковой необходимости. Ни обще-ство, ни сама Элеонора не поняли бы положения и страда-ний его. Адольф, созданный по образу и духу нашего века, часто преступен, но всегда достоин сострадания: судя его, можно спросить, где найдется праведник, который бросит в него камень? Но Адольф в прошлом столетии был бы про-сто безумец, которому никто бы не сочувствовал, загадка, которую никакой психолог не дал бы себе труда разгадывать. Нравственный недуг, которым он одержим и погибает, не

мог бы укорениться в атмосфере прежнего общества. Тогда могли развиваться острые болезни сердца; ныне пора хронических: самое выражение *недуг сердца* есть потребность и находка нашего времени. Нигде не было выставлено так живо, как в сей повести, что жестокосердие есть неминуемое следствие малодушие, когда оно раздражено обстоятельствами, или внутреннею борьбою; что есть над общежитием какое-то тайное Провидение, которое допускает уклонения от законов, непреложно им постановленных; но рано или поздно постигает их мерою правосудия своего; что чувства ничего без правил; что если чувства могут быть благими вдохновениями, то одни правила должны быть надежными руководителями (так Колумб мог откровением гения угадать новый мир, но без компаса не мог бы открыть его); что человек, в разногласии с обязанностями своими, живая *аномалии* или выродок в системе общественной, которой он принадлежит: будь он даже в некоторых отношениях и превосходнее её; но всегда будет не только несчастлив, но и виноват, когда не подчинит себя общим условиям и не признает власти большинства.

Женщины вообще не любят Адольфа, то есть характера его: и это порука в истине его изображения. Женщинам весело находить в романах лица, которых не встречают они в жизни. Охлажденные, напуганные живою природою общества, они ищут убежища в мечтательной Аркадии романов: чем менее герой похож на человека, тем более сочувствуют

они ему; одним словом, ищут они в романах не портретов, но идеалов; а спорить нечего: Адольф не идеал. Б. Констан и авторы еще *двух трех романов*,

В которых отразился век
И современный человек,

не льстивые живописцы изучаемой ими природы. По мнению женщин, Адольф один виноват: Элеонора извинительна и достойна сожаления. Кажется, приговор несколько пристрастен. Конечно, Адольф, как мужчина, зачинщик, а на зачинающего Бог, говорит пословица. Такока роль мужчин в романах и в свете. На них лежит вся ответственность женской судьбы. Когда они и становятся сами жертвами необдуманной склонности, то не прежде, как уже предав жертву властолюбию сердца своего, более или менее прямодушному, своенравному, но более или менее равно насильственному и равно бедственному в последствиях своих. Но таково уложение общества, если не природы, таково влияние воспитания, такова *сила вещей*. Романист не может идти по следам Платона и импровизировать республику. Каковы отношения мужчин и женщин в обществе, таковы должны они быть и в картине его. Пора *Малек-Аделей и Густавов* миновалась. Но после предварительных действий, когда уже связь между Адольфом и Элеонорою заключена взаимными задатками и пожертвованиями, то решить трудно, кто несчастней

из них. Кажется, в этой нерешимости скрывается еще доказательство искусства, то есть истины, коей держался автор. Он не хотел в приговоре своем оправдать одну сторону, обвиняя другую. Как в тяжбах сомнительных, спорах обоюдно неправых, он предоставил обоим полам, по юридическому выражению, *ведаться формою суда*. А сей суд есть трибунал нравственности верховной, которая обвиняет того и другого.

Но в сем романе должно искать не одной любовной биографии сердца: тут вся история его. По тому, что видишь, угадать можно то, что не показано. Автор так верно обозначил нам с одной точки зрения характеристические черты Адольфа, что, применяя их к другим обстоятельствам, к другому возрасту, мы легко выкладываем мысленно весь жребий его, на какую сцену действия ни был бы он кинут. Вследствие того, можно бы (разумеется, с дарованием Б. Констана) написать еще несколько Адольфов в разных периодах и соображениях жизни, подобно портретам одного же лица в разных летах и костюмах.

О слоге автора, то есть о способе выражения, и говорить нечего: это верх искусства, или, лучше сказать, природы: таково совершенство и так очевидно отсутствие искусства или труда. Возьмите на удачу любую фразу: каждая вылита, стройна как надпись, как отдельное изречение. Вся книга похожа на ожерелье, нанизанное жемчугами, прекрасными по одиночке, и прибранными один к другому с удивительным тщанием: между тем нигде не заметна рука художника.

Кажется, нельзя ни прибавить, ни убавить, ни переставить ни единого слова. Если то, что Депрео сказал о Мальгербе, справедливо:

D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,

то никто этому могуществу так не научался, как Б. Констан. Впрочем, важная тайна слога заключается в этом умении. Это искусство военачальника, который знает, как расставить свои войска, какое именно на ту минуту и на том месте употребить оружие, чтобы нанести решительный удар; искусство композитора, который знает, как инструментировать свое гармоническое, соображение. Автор *Адольфа* силен, красноречив, язвителен, трогателен, не прибегая никогда в напряжению силы, к цветам красноречия, к колкостям эпиграмы, к *слезам слога*, если можно так выразиться. Как в создании, так и в выражении, как в соображениях, так и в слоге вся сила, все могущество дарования его – в истине. Таков он в *Адольфе*, таков на ораторской трибуне, таков в современной истории, в литературной критике, в высших соображениях духовных умозрений, в пылу политических памфлетов {Письма о стодневном царствования Наполеона; предисловие его к переводу, или подражанию Шиллеровой трагедии: Валленштейн; статья о г-же Сталь, творение: о религии; все политические брошюры его.}: разумеется, говорится здесь не о мнениях его не идущих в дело, но

о том, как он выражает их. В диалектике ума и чувства, не знаю, кого поставить выше его. Наконец, несколько слов о моем переводе. Есть два способа переводить: один независимый, другой подчиненный. Следуя первому, переводчик, напившись смыслом и духом подлинника, переливает их в свои формы; следуя другому, он старается сохранить и самые формы, разумеется, соображаясь со стихиями языка, который у него под рукою. Первый способ превосходнее; второй невыгоднее; из двух я избрал последний. Есть еще третий способ переводить: просто переводить худо. Но не кста-ти мне здесь говорить о нем. Из мнений моих, прописанных выше о слоге Б. Констана, легко вывести причину, почему я связал себя *подчиненным переводом*. Отступления от выражений автора, часто от самой симметрии слов, казались мне противоестественным изменением мысли его. Пускай назовут веру мою суеверием, по крайней мере, оно непритворно. К тому же, кроме желания моего познакомить Русских писателей с этим романом, имел я еще мою собственную цель: изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному, разумеется, опять, без увечья, без распятия на ложе Прокрустовом. Я берегся от галлицизмов слов, так сказать синтаксических или вещественных, но допускал галлицизмы понятий, умозрительные, потому что тогда они уже европеизмы. Переводы независимые, то есть пересоздания, переселения душ из иностранных языков в

Русский, имели у нас уже примеры блестящие и разве только что достижимые: так переводили Карамзин и Жуковский. Превзойти их в этом отношении невозможно, ибо в подражании есть предел неминуемый. Переселения их не отзываются почвою и климатом родины. Я напротив хотел испытать можно ли, повторяю, не насильствуя природы нашей, сохранить в переселении запах, отзыв чужбины, какое-то областное выражение. Заметим между тем, что эти попытки совершены не над творением исключительно Французским, но более европейским, представителем не Французского общества, но представителем века своего, светской, так сказать, практической метафизики поколения нашего. В подобной сфере выражению трудно удержать во всей неприкосновенности свои особенности, свои прихоти: межевые столбы, внизу разграничивающие языки, права, обычаи, не доходят до той высшей сферы. В ней все личности сглаживаются, все резкия отличия сливаются. Адольф не француз, не немец, не англичанин: он воспитанник века своего.

Вот не оправдания, но объяснения мои. Оспаривая меня, можно будет, по крайней мере, оспаривать мою систему, а не винить меня в исполнении; можно будет заняться исследованием мысли, а не звуков. Даю критике способ выдти, если ей угодно, из школьных пределов, из инквизиции слов, в которых она у нас обыкновенно сжата.

Предисловие

1

Не без некоторого недоумения согласился я на перепечатание сего маловажного сочинения, выданного за десять лет. Если бы я не уверен был почти решительно, что готовится поддельное издание оною в Бельгии, и что сия подделка, подобно всем другим, распускаемым в Германии и ввозимым во Францию Бельгийскими перепечатальщиками, будет пополнена прибавлениями и вставками, в которых я не принимал участия, то никогда не занялся бы я сим анекдотом, написанным только для убеждения двух или трех собравшихся в деревне приятелей, что можно придать некоторую занимательность роману, в коем будут только два действующие лица, пребывающие всегда в одинаковом положении.

Обратившись к этому труду, я хотел развить некоторые другие мысль, мне раскрывшиеся и показавшиеся несовершенно бесполезными. Я захотел представить зло, которое и самые черствые сердца испытывают от наносимых ими страданий, и показать заблуждение, побуждающее их почитать себя более ветреными, или более развращенными, нежели каковы они в самом деле. В отдалении, образ скорби, принимаемой нами, кажется неопределенным и неясным, подоб-

¹ К третьему изданию на Французском языке.

но облаку, сквозь которое легко пробиться. Мы подстрекаемы одобрением общества, совершенно поддельного, которое заменяет правило обрядами, чувства приличиями, которое ненавидит соблазн как неуместность, а не как безнравственность; ибо оно довольно доброхотно приветствует порок, когда он чужд огласки. Думаешь что разорвешь без труда узы, заключенные без размышления. Но когда видишь тоску и изнеможение, порожденные разрывом сих уз, сие скорбное изумление души обманутой, сию недоверчивость, следующую за доверенностью столь неограниченную; когда видишь, что она, вынужденная обратиться против существа отдельного от остального мира, разливается и на целый мир; когда видишь сие уважение смятое и опрокинутое на себя незнающее более, к чему прилепиться: тогда чувствуешь, что есть нечто священное в сердце страждущем, потому что оно любит; усматриваешь тогда, сколь глубоки корни привязанности, которую хотел только внушить, а разделить не думал. А если и превозможешь так называемую слабость, то не иначе, как разрушая в себе самом все, что имеешь великодушного, потрясая все, что ни есть постоянного, жертвуя всем, что ни есть благородного и доброго. Потом восстаешь от сей победы, которой рукоплещут равнодушные и друзья, но восстаешь, поразив смертью часть души своей, поругавшись сочувствию, утеснив слабость и оскорбив нравственность, приняв ее за предлог жестокосердия: и таким образом лучшую природу свою переживаешь, пристыженный

или развращенный сим печальным успехом.

Такова картина, которую хотел я представить в *Адольфe*. Не знаю, успел ли: по крайней мере, то придает в моих глазах некоторую истину рассказу моему, что почти все люди, его читавшие, мне говорили о себе как о действующих лицах, бывавших в положении, подобном положению моего героя. Правда, что сквозь показываемое ими сожаление о всех горестях, которые они причинили, пробивалось, не знаю, какое-то наслаждение самохвальства. Им весело было намекать, что и они, подобно Адольфу, были преследуемы настойчивою привязанностью, которую они внушали; что и они были жертвами любви беспредельной, которую к ним питали. Я думаю, что по большей части они клеветали на себя, и что если бы тщеславие не тревожило их, то совесть их могла бы остаться в покое.

От издателя²

За несколько лет перед сим я ездил по Италии. Разлитием Нето я был задержан в гостиннице Черенцы, маленькой деревеньки в Калабрии. В той же гостиннице находился другой проезжий, вынужденный оставаться там по той же причине. Он хранил молчание и казался печальным. Он не обнаруживал ни малейшего нетерпения. Иногда ему жаловался я, как единственному слушателю моему, на задержку в проезде нашем. Для меня все равно, отвечал он, здесь ли я, или в другом месте. Наш хозяин, который разговаривал со слугою неаполитанцем, находящимся при этом путешественнике и не ведавшим его имени, сказал мне, что он путешествует не из любопытства, потому что не посещал ни развалин, ни достопримечательных мест, ни памятников, ни людей. Он читал много, но без постоянной связи. Он прогуливался вечером, всегда один, и по целым дням сидел иногда неподвижно, опершись головою на обе руки.

В самое то время, когда устроено было сообщение, и мы могли уже ехать, незнакомец сильно занемог. Человеколюбие заставило меня продлить тут пребывание мое, чтоб ходить за больным. В Черенце был только тамошний лекарь: я хотел послать в Козенцу, искать помощи более надежной.

² Так назвал себя Б. Констан.

Не стоит того, сказал мне незнакомец; вот именно тот человек, который мне нужен. Он не ошибался, хотя, может быть, думал другое; ибо этот человек вылечил его. Я не предполагал в вас такого искусства, сказал он ему с каким-то нерасположением при прощании; потом он поблагодарил меня за мои о нем попечения и уехал.

Спустя несколько месяцев, из Черенцы от хозяина гостиницы получил я в Неаполе письмо с ларчиком, найденным на дороге в Стронголи, по которой мы с незнакомцем отправились, но только розно. Трактирщик прислал мне его, полагая наверное, что ларчик должен принадлежать одному из нас. Он заключал в себе множество давнишних писем, без надписей или с надписями и подписями уже стертými, женский портрет и тетрадь, содержащую анекдот, или повесть, которую здесь прочтут. Путешественник, которому принадлежали сии вещи, отъезжая, не указал мне никакого способа писать к нему. Я хранил все эти вещи десять лет, не зная, как их употребить. Однажды проговорил я об них случайно некоторым знакомым моим в Немецком городе: один из них просил меня убедительно показать ему упомянутую рукопись. Через неделю рукопись была возвращена мне при письме, которое я поместил в конце сей повести потому, что оно до её прочтения показалось бы непонятным. По этому письму я решился напечатать повесть, убедясь достоверно, что она не может ни оскорбить никого, ни вредить никому. Я не переменял ни слова в подлиннике: даже собственные имена ута-

ены не мною; они, как и теперь, означены были одними заглавными буквами.

Глава первая

Двадцати двух лет я кончил курс учения в Гёттингенском университете. Отец мой, министр курфистра ***, хотел, чтоб я объездил замечательнейшие страны Европы. Он намерен был после взять меня к себе, определить в департамент, коего управление было ему вверено, и приготовить меня к заступлению своей должности. Трудом довольно упорным, среди самой рассеянной жизни, удалось мне приобрести успехи, которые отличили меня от товарищей в учении и вселили в родителя моего надежды на меня, вероятно, весьма им увеличенные.

Сии надежды сделали его чрезмерно снисходительным ко многим моим проступкам – Он никогда не подвергал меня неприятным последствиям моих шалостей. В этом отношении, он всегда удовлетворял моим просьбам и часто упреждал их.

По несчастию, в его поступках со мною больше было благородства и великодушие, нежели нежности. Я был убежден в правах его на мою благодарность и на мое почтение; но никогда не находилось между нами ни малейшей доверенности. В его уме было что-то насмешливое, а это не соглашалось с моим характером. Я тогда был побуждаем одного неодолимою потребностью предаваться сим впечатлениям, первобытным и стремительным, которые выносят душу

из границ обыкновенных и внушают ей презрение к предметам, ее окружающим. Я видел в отце не нравоучителя, но наблюдателя холодного и едкого, который сначала улыбался, и вскоре прерывал разговор с нетерпением. В течении первых осмнадцати лет своих, не помню ни одного с ним разговора, который продолжался бы с час. Письма его были благосклонны, исполнены советов благоразумных и трогательных. Но когда мы сходились, в его обращении со мною было нечто принужденное, для меня неизъяснимое и обратно на меня действовавшее самым тягостным образом. Я тогда не знал, что такое застенчивость, сие внутреннее мучение, которое преследует нас до самых поздних лет, отбивает упорно на сердце наше впечатления глубочайшие, охлаждает речи наши, искажает в устах наших все, что сказать покушаемся, и не дает нам выразиться иначе, как словами неопределительными, или насмешливостью более или менее горькою, как будто на собственных чувствах своих мы хотим отмстить за досаду, что напрасно стараемся их обнаружить. Я не знал, что отец мой даже и с сыном своим был застенчив, что часто, ожидая долго от меня изъявления нежности, которую, казалось, заграждала во мне его наружная холодность, он уходил от меня со слезами на глазах и жаловался другим, что я его не люблю.

Принужденность моя с ним сильно действовала на мой характер. Как он, равно застенчивый, но более беспокойный, потому что был моложе, я привыкал заключать в себе все

свои ощущения, задумывать планы одинокие, в их исполнении на одного себя надеяться, и почитать предостережения, участие, помощь и даже единое присутствие других за тягость и препятствие. Я приучил себя не говорить никогда о том, что меня занимало и, порабощаясь разговору, как докучной необходимости, оживлять его непрерывною шуткою, которая лишала его обыкновенной томительности и помогала мне утаивать истинные мои мысли. От сего произошел у меня в откровенности недостаток, в котором и ныне укоряют меня приятели, и трудность повести разговор рассудительный для меня почти всегда неодолима. Следствием сего было также пылкое желание независимости, нетерпение, раздраженное связями, меня окружающими, и непобедимый страх поддаться новым. Мне было просторно только в одиночестве: таково еще и ныне действие сей склонности души, что в обстоятельствах самых маловажных, когда мне должно решиться на одно из двух, лице человеческое меня смущает, и я по природному движению убегаю от него для мирного совещания с самим собою. Я не имел однакоже того глубокого эгоизма, который выказывается подобным свойством. Заботясь только о себе одном, я слабо о себе заботился. На дне сердца моего таилась потребность чувствительности, мною не замечаемая; но, не имея чем удовлетвориться, она отвлекала меня постепенно от всех предметов, поочередно возбуждавших мое любопытство. Сие равнодушие ко всему утвердилось еще более мыслью о смерти, мыслью,

поразившею меня в первую мою молодость, так что я никогда не постигал, как могут люди столь легко отвлекать себя от неё. Семнадцати лет был я свидетелем смерти женщины уже в летах, которой ум, свойства замечательного и странного, способствовал к развитию моего. Сия женщина, как и многие, при начале поприща своего кинулась в свет, ей неизвестный, с чувством необыкновенной силы душевной и способностями, в самом деле могущественными, и так же, как многие, за непокорность приличиям условным, но нужным, она увидела надежды свои обманутыми, молодость, протекшую без удовольствий, и наконец старость ее постигла, но не смирила. Она жила в замке, соседственном с нашими деревнями, недовольная и уединенная, имея подмогою себе единый ум свой и все подвергая исследованию ума своего. Около года, в неистощимых разговорах наших, мы обозревали жизнь во всех её видах и смерть неизбежным концем всего. И столько раз беседовав с нею о смерти, я наконец должен был видеть, как смерть и ее поразила в глазах моих.

Сие происшествие исполнило меня чувством недоумения о жребии человека и неопределенною задумчивостию, которая меня не покидала. В поэтах читал я преимущественно места, напоминавшие о кратковременности жизни человеческой. Мне казалось, что никакая цель недостойна никаких усилий. Довольно странно, что сие впечатление ослабевало во мне именно по мере годов, меня обременявших, от того ли, что в надежде есть нечто сомнительное, и что когда она

сходит с поприща человека, сие поприще приемлет вид более мрачный, но более положительный; от того ли, что жизнь кажется глазам нашим тем действительнее, чем более пропадают заблуждения, как верхи скал рисуются явственнее на небосклоне, когда облака рассеиваются.

Оставя Геттинген, я прибыл в город ***; он был столицею принца, который по примеру почти всех Германских принцев, правил кротко областью необширную, покровительствовал людям просвещенным, в ней поселившимся, давал всем мнениям свободу совершенную, но сам, по старинному обычаю, ограниченный обществом своих придворных, собирал по этой причине вокруг себя людей, большею частью, малозначущих и посредственных. Я был встречен при этом дворе с любопытством, которое необходимо возбудить должен каждый приезжий, расстраивающий присутствием своим порядок однообразия и этикета. Несколько месяцев ничто в особенности не приковывало моего внимания. Я был признателен за благосклонность, мне оказанную; но частью застенчивость моя не давала мне ею пользоваться, частью усталость от волнения без цели заставляла меня предпочитать уединение приторным удовольствиям, к коим меня приглашали. Я ни в кому не питал неприязни, но немногие внушали мне участие: а люди оскорбляются равнодушием; они приписывают его недоброжелательству, или спесивой причудливости. Им никак не верится, что с ними просто скучаешь. Иногда я старался победить свою скуку. Я укрывался

в глубокую молчаливость: ее принимали за презрение. По временам, утомленный сам своим молчанием, я подавался на шутки, и ум мой, приведенный в движение, увлекал меня из меры. Тогда обнаруживал я в один день все, что мною было замечено смешного в месяц. Наперсники моих откровений, нечаянных и невольных, не были ко мне признательны, и по делом: ибо мною обладала потребность говорить, а не доверчивость. Беседами своими с женщиною, которая первая раскрыла мои мысли, я был приучен к неодолимому отвращению от всех пошлых нравоучений и назидательных формул. И когда предо мною посредственность словоохотно рассуждала о твердых и неоспоримых правилах нравственности, приличий или религии, кои любит она подводить иногда под одну чреду, я подстрекаем бывал желанием ей противоречить: не потому, что держался мнений противных, но потому, что раздражен был убеждением столь плотным и тяжелым. Впрочем, не знаю, всегда какое-то чувство предостерегало меня не поддаваться сим аксиомам, столь общим, столь не подверженным ни малейшему исключению, столь чуждым всяких оттенков. Глупцы образуют из своей нравственности какой-то слой твердый и неразделимый, с тем, чтобы она, как можно менее, смешивалась с их деяниями и оставила бы их свободными во всех подробностях.

Таким поведением я вскоре распустил о себе славу человека легкомысленного, насмешливого и злобного. Мои едкие отзывы пошли за свидетельство души ненавистливой;

мои шутки – за преступления, посягающие на все, что есть почтенного. Люди, пред коими провинился я, насмехаясь над ними, нашли удобным вооружиться за одно с правилами, которые, по их словам, я подвергал сомнению: и потому, что мне удалось нехотя позабавить их друг над другом, они все соединились против меня. Казалось, что, обличая их дурачества, я как будто бы выдаю тайну, которую мне они вверили; казалось, что, явившись на глаза мои тем, чем были в самом деле, они обязали меня клятвою на молчание: у меня на совести не лежало согласия на договор слишком обременительный. Им весело было давать себе полную волю, мне наблюдать и описывать их; и что именовали они предательством, то в глазах было возмездием, весьма невинным и законным.

Не хочу здесь оправдываться. Я давно отказался от сей суетной и легкой повадки ума неопытного: хочу только сказать, что в пользу других, а не себя, уже в безопасности от света, что нельзя в короткое время привыкнуть к человеческому роду, каким является он нам, преобразованный своекорыстием, принужденностью, чванством и опасением. Изумление первой молодости при виде общества, столь поддельного и столь разработанного, знаменует более сердце простое, нежели ум злобный и насмешливый. Притом же нечего страшиться обществу. Оно так налегает на нас, скрытое влияние его так могущественно, что оно без долговременной отсрочки обдeldывает нас по общему образцу. Мы тогда ди-

вимся одному прежнему удивлению, и нам становится легко в вашем новом преображении: так точно под конец дышешь свободно в театральной зале, набитой народом, где сначала с трудом мог переводить дыхание.

Если немногие и избегают сей общей участи, то они сокрывают в себе свое тайное разногласие: они усматривают в большей части дурачеств зародыши пороков, и тогда не забавляются ими, потому, что презрение молчаливо.

Таких образом разлилось по маленькой публике, меня окружавшей, беспокойное недоумение о моем характере. Не могли выставить ни одного поступка предосудительного; не могли даже отрицать достоверности нескольких поступков коих, обнаруживавших великодушие или самоотвержение; но говорили, что я человек безнравственный, человек ненадежный. Эти два прилагательные счастливо изобретены, чтобы намекать о действиях, про которые не ведаешь, и давать угадывать то, чего не знаешь.

Глава вторая

Рассеянный, невнимательный, скучающий, я не замечал впечатления, производимого мною, я делил время свое между занятиями учебными, часто прерываемыми, намерениями, не приводимыми в действие, и забавами для меня без удовольствия, когда обстоятельство, по-видимому, весьма маловажное, произвело в моем положении значительную перемену.

Молодой человек, с которым я был довольно короток, домогался уже несколько месяцев нравиться одной из женщин нашего круга, менее других скучной; я был наперсником, во все бескорыстным, его предприятия. После многих стараний он достигнул цели; не скрывав от меня своих неудач и страданий, он почел за обязанность поверить мне и свои успехи. Ничто не могло сравниться с его восторгами, с исступлением радости его. При зрелище подобного счастья, я сожалел, что еще не испытал оного. До той поры я не имел ни с одной женщиной связи, лестной для моего самолюбия: казалось, новое будущее разоблачилось в глазах моих; новая потребность отозвалась в глубине моего сердца. В этой потребности было без сомнения много суетности; но не одна была в ней суетность; может статься, было её и менее, нежели я сам полагал, Чувства человека смутны и смешаны; они образуются из множества различных впечатлений, убегающих от наблю-

дения; и речь, всегда слишком грубая и слишком общая, может послужить нам к означению, но не в определению оных.

В доме родителя моего я составил себе о женщинах образ мыслей, довольно безнравственный. Отцу моему, хотя он и строго соблюдал внешния приличия, случалось, и нередко, говорить легко о любовных связях. Он смотрел на них, как на забавы, если не позволительные, то, по-крайней мере, извинительные, и почитал один брак делом важным. Он держался правила, что молодой человек должен беречь себя от того, что называется сделать дурачество, то есть, заключить обязательство прочное с женщиною, которая не была бы ему совершенно равною по фортуне, рождению и наружным выгодам; но впрочем ему казалось, что все женщины, пока не идет дело о женитьбе, могут без беды быть присвоены, потом брошены; и я помню его улыбку несколько одобрительную при пародии известного изречения: *«им от этою так мало беды, а нам так много удовольствия»*.

Мало думают о том, сколь глубокое впечатление наносят подобные слова в молодые лета; сколько в возрасте, в коем все мнения еще сомнительны и зыбки, дети удивляются противоречию шуток, приветствуемых общею похвалою, с наставлениями непреложными, которые им преподают. Сии правила, тогда в глазах их являются им пошлыми формулами, которые родители условились твердить им для очистки своей совести; а в шутках, кажется им, заключается настоящая тайна жизни.

Раздираемый неопределенным волнением, я говорил себе: «хочу быть любим» и оглядывал кругом себя; смотрел, и никто не внушал мне любви, никто не казался мне способным любить; вопрошал я сердце свое и свои склонности, и не чувствовал в себе никакого движения предпочтительного пристрастия. Таким образом, исполненный внутренно мучений, я познакомился с графом П... Ему было лет сорок; его фамилия была в свойстве с моею. Он предложил мне побывать у него. Несчастное посещение! С ним жила его любовница, полька, прославленная своею красотой, хотя и была она уже не первой молодости. Женщина сия, не смотря на свое невыгодное положение, оказалась во многих случаях характер необыкновенный. Семейство её, довольно знаменитое в Польше, было разорено в смутах сего края. Отец её был изгнан; мать отправилась во Францию искать убежища, привезла с собою свою дочь и по смерти своей оставила ее в совершенном одиночестве. Граф П... в нее влюбился. Мне никогда не удалось узнать, как образовалась сия связь, которая, когда увидел я в первый раз Элеонору, была уже давно упроченною и, так сказать, освященною. Бедственность ли положения, или неопытность лет кинули ее на стезю, от которой, казалось, она равно ограждена была своим воспитанием, своими привычками и гордостью, одним из отличительных свойств её характера? Знаю только то, что знали все, а именно, что когда состояние графа П... было почти в конец разорено и независимость его угрожаема, Элеонора принес-

ла такие доказательства преданности ему, с таким презрением отвергла предложения, самые блестящие, разделила опасности его и нищету с таким усердием и даже с такою радостью, что и самая разборчивая строгость не могла отвязаться от справедливой оценки чистоты её побуждений и бескорыстия поступков её. Единственно её деятельности, смелости, благородию, жертвованиям всякого рода, понесенным ею без малейшего ропота, любовник её был обязан за возвращение некоторой части своих владений. Они приехали на житье в Д... по делам тяжбы, которая могла вполне возратить графу П... его прежнее благосостояние, и думали они пробывать тут два года.

Ум Элеоноры был обыкновенный, но понятия верны, а выражения, всегда простые, были иногда разительны по благородству и возвышенности чувств её. Она имела много предразсудков, но все предразсудки её были в противоположности с её личною пользою. Она придавала большую цену беспорочности поведения, именно потому, что её поведение не было беспорочно по правилам общепринятым. Она была очень предана религии, потому что религия строго осуждала её род жизни. Она неуклонно отражала в разговорах все, что для других женщин могло бы вязаться шутками невинными, боясь всегда, чтобы положение её не подало кому-нибудь права дозволить себе при ней шутки неуместные. Она желала бы принимать к себе только мужчин почетных и нравов беспорочных: потому что женщины, в которм она

страшилась быть причисленною, составляют себе, по обыкновению, общество смешанное, и, решившись на утрату уважения, ищут одной забавы в сношениях общежития. Элеонора, одним словом, была в борьбе постоянной с участью своею. Она каждым своим действием, каждым своим словом противоречила, так сказать, разряду, к которому была прочтена, и чувствуя, что действительность сильнее её, что стараниями своими не переменит ни в чем положения своего, она была очень несчастлива. Она воспитывала с чрезмерною строгостью двоих детей, прижитых ею с графом П... Можно было подумать, что иногда тайное, мятежное чувство сливалось с привязанностью более страстною, нежели нежною, которую она им оказывала, и что от такого противоборства они бывали ей некоторым образом в тягость. Когда с добрым намерением говорили ей, что дети её растут, замечали дарования, в них показывающиеся, угадывали успехи, их ожидающие, она бледнела от мысли, что со временем должна будет объявить им тайну их происхождения. Но малейшая опасность, час разлуки обращали ее в нем с беспокойством, выказывавшем род угрызения и желание доставить им своими ласками счастье, которого сама она в них не находила. Сия противоположность между чувствами её и местом, занимаемым ею в свете, дала большую неровность её нраву и обхождению. Часто она бывала задумчива и молчалива; иногда говорила с стремительностью. Постоянно одержимая мыслью отдельною, она и посреди разговора общего не оставалась

никогда совершенно покойною, но именно потому во всем обращении её было что-то неукротимое и неожиданное, и это придавало ей увлекательность, может быть, ей несродную. Странность её положения заменила в ней новизну мыслей. На нее смотрели с участием и с любопытством, как на прекрасную грозу.

Явившаяся моим взорам в минуту, когда сердце мое требовало любви, а чувство суетное успехов, Элеонора показала мне достойною моих искусительных усилий. Она сама нашла удовольствие в обществе человека, непохожего на тех, которых она доселе видела. Круг её был составлен из нескольких друзей и родственников любовника её и жен их, которые из трусливого угождения графу П... согласились познакомиться с его любовницею. Мужья были равно лишены и чувств и мыслей. Жены отличались от них посредственностью более беспокойною и торопливою, потому что не имели, подобно мужьям, этого спокойствия ума, приобретаемого занятием и деловую правильностью. Некоторая утонченность в шутках, разнообразие в разговорах, соединение мечтательности и веселости, уныния и живого участия, восторженности и насмешливости, удивили и привлекли Элеонору. Она говорила на многих языках, хотя и несовершенно, но всегда с движением, часто с прелестью. Мысли, казалось, пробивались сквозь препятствия и выходили из сей борьбы с новою приятностию, простотою и свежестью, потому что чужеземные наречия молодят мысли и освобождают их от обо-

ротов, придающих им поочередно нечто пошлое и вынужденное. Мы читали вместе Английских поэтов, ходили вместе прогуливаться. Часто бывал я у неё по утрам и к ней же возвращался вечером, беседовал с него о тысяче предметов.

Я предполагал обойти наблюдателем холодным и беспристрастным весь очерк характера и ума её; но мне казалось, что каждое слово её было облечено невыразимою прелестью. Намерение ей понравиться влягало в жизнь мою новое побуждение, одушевляло мое существование необычайным образом. Я приписывал прелести её сие действие почти волшебное: я полнее наслаждался бы оным без обязательства, связавшего меня перед моим самолюбием. Сие самолюбие было третьим между Элеонорою и мною; я почитал себя как бы вынужденным идти скорее к цели, себе предположенной и потому не предавался без оглядки впечатлениям своим. Я был в нетерпении объясниться. Ибо казалось мне, что для успеха стоило только мне открыться. Я не думал, что люблю Элеонору, но уже не мог бы отказаться от мысли ей нравиться. Она меня занимала беспрестанно: я соображал тысячи намерений; вымышлял тысячи средств в победе с этим неопытным самонадеянием, которое уверено в успехе потому, что ничего не испытало.

Однако же застенчивость непобедимая меня удерживала. Все мои речи прилипали в языку моему, или договаривались совсем не так, как я предполагал. Я боролся внутренно и негодовал на самого себя.

Я прибегнул наконец к умствованию, которое могло бы вывести меня с честью в собственных глазах из сей томительной распри. Я сказал себе, что не должно ничего торопить, что Элеонора не довольно приготовлена в признанию, которое я замышлял, и что лучше помедлить. Почти всегда, когда хотим быть в ладу с собою, мы обращаем в расчеты и правило свое бессилие и свои недостатки. Такая уловка в нас доводит до половины, которая, так сказать, есть зритель другой.

Сие положение длилось. С каждым днем назначал я завтра сроком непременно для признания решительного, и завтра было тоже, что накануне. Застенчивость покидала меня, как скоро я удалялся от Элеоноры; тогда опять принимался я за свои искусные предначертания и глубокия соображения. Но едва приближался к ней, я снова чувствовал трепет и замешательство. Кто стал бы читать в сердце моем в её отсутствии, тот почел бы меня соблазнителем холодным и мало чувствительным. Но кто увидел бы меня близ неё, тот признал бы меня за любовного новичка, смятенного и страстного. И то и другое суждение было бы ошибочно: нет совершенного единства в человеке, и почти никогда не бывает никто ни совсем чистосердечным, ни совсем криводушным.

Убежденный сими повторенными опытами, что никогда не осмелюсь открыться Элеоноре, решился я писать ей. Граф П... был в отлучке. Борения мои с собственным характе-

ром, досада, что не удалось мне переломить его, неведение об успехе моего покушения отразились в моем письме волнением, очень похожим на любовь. Между тем разгоряченный собственным моим слогом, я ощущал в себе, оканчивая письмо, некоторое действие той страсти, которую старался выразить со всевозможною силою.

Элеонора увидела в письме моем то, что надлежало видеть: порыв минутный человека десятью годами её моложе, которого сердце растворилось чувством, ему еще неизвестным, и более достойного жалости, нежели гнева. Она отвечала мне с кротостью, дала мне советы благосклонные, предложила мне дружбу искреннюю, но объявила, что до возвращения графа П... она принимать меня не может.

Сей ответ перевернул мне душу. Мое воображение, раздраженное препятствием, овладело всем моим существованием. Любовь, которую за час перед тем я самохвально лукавил, казалось, господствовала во мне с исступлением. Я побежал к Элеоноре: мне сказали, что её нет дома. Я написал ей, умолял ее согласиться на последнее свидание; я изобразил ей в болезненных выражениях мое отчаяние, бедственные замыслы, на которые меня осуждает её жестокое решение. Большую часть дня ожидал я напрасно ответа. Я усмирлял свое неизъяснимое страдание, повторял себе, что завтра отважусь на все для свидания и для объяснения с Элеонорою. Вечером мне принесли несколько слов от неё. Они были ласковы. Мне сдавалось, что в них отзывается впечатление

сожаления и грусти; но она упорствовала в своем решении и говорила, что оно непоколебимо. Я снова явился к ней в дом на другой день. Она выехала в деревню, и люди не знали, куда именно. Они даже не имели никакого средства пересылать к ней письма.

Я долго стоял недвижим у дверей, не придумывая никакой возможности отыскать ее. Я сам дивился страданию своему. Память мне приводила минуты, в которые говорил я себе, что добиваюсь только успеха; что это была попытка, от коей откажусь свободно. Я никак не постигал скорби жестокой, непокоримой, раздиравшей мое сердце. Несколько дней протекло таким образом. Я был равно неспособен к рассеянию и умственным занятиям. Я бродил беспрестанно мимо дома Элеоноры; бегал по городу, как будто при каждом повороте улицы мог надеяться встретить ее. Одним утром, в одну из сих прогулок без цели, которые заменяли волнение мое усталостью, я увидел карету графа П..., возвращающегося из своей поездки. Он узнал меня и вышел из кареты. После нескольких общих слов, я стал говорить ему, скрывая свое смятение, о неожиданном отъезде Элеоноры. Да, сказал он, с одною из её приятельниц, за несколько миль отсюда, случилось какое-то несчастье, и Элеоноре показалось, что она может доставить ей некоторое утешение и пользу. Она уехала, не посоветовавшись со мною. Элеонора такого свойства, что все чувства её одолевают ее, и душа её, всегда деятельная, находит почти отдых в пожертвовании. Но присут-

ствие её мне здесь нужно: я напишу ей, и она верно возвратится через несколько дней.

Сие уверение меня успокоило: я чувствовал, что скорбь моя умиряется. В первый раз с отъезда Элеоноры я мог свободно перевести дыхание. Возвращение её не последовало так скоро, как надеялся граф П... Но я принялся за свою вседневную жизнь, и тоска меня удручавшая, начинала мало по малу рассеиваться, когда, по истечении месяца, граф П... прислал мне сказать, что Элеонора должна приехать вечером. Ему было дорого сохранить ей в обществе место, на которое по характеру своему имела она право, и которого, казалось, лишена была положением своим: для сего ко дню приезда пригласил он к себе на ужин родственниц и приятельниц своих, согласившихся на знакомство с Элеонорою.

Мои воспоминания мне явились снова, сперва смутно, потом живее. Мое самолюбие к ним пристало: я был расстроен, уничижен встречей с женщиной, поступившей со мною, как с ребенком. Мне мечталось заранее, будто, свидясь со мною, она улыбалась от мысли, что кратковременное отсутствие усмирило пыл молодой головы: и я угадывал в этой улыбке след какого-то презрения ко мне. Постепенно чувствования мои пробуждались. В тот самый день встал я, не помышляя более об Элеоноре. Через час после известия о её приезде, образ её носился передо мною, владычествовал над моим сердцем, и меня била лихорадка от страха, что ее

не увижу.

Я просидел дома весь день и, так сказать, хоронился; дрожал, что малейшее движение предупредит нашу встречу. Ничего однако же не было естественнее, вернее: но я желал её с таким жаром, что она вязалась мне невозможною. Мучась от нетерпения, беспрестанно смотрел на часы; открывал окно – мне было душно. Кровь моя палила меня, струясь в моих жилах.

Наконец, услышал я, что пробил час, в который должно мне было ехать к графу. Мое нетерпение перешло вдруг в робость; я одевался медленно, я уже не спешил приехать. Такой страх, что ожидание мое будет обмануто, такое сильное чувство горести, мне, может быть, угрожающей, овладели мною, что я согласился бы охотно все отсрочить.

Было уже довольно поздно, когда я вошел в гостиную графа П... Я увидел Элеонору, сидевшую во глубине комнаты. Я не смел подойти; мне казалось, что все уставили глаза свои на меня. Я спрятался в углу гостиной за мущинами, которые разговаривали. Оттуда я всматривался в Элеонору: мне показалось, что она несколько изменилась, была бледнее обыкновенного. Граф отыскал меня в убежище, в котором я как будто притаился, подошел ко мне, взял за руку и подвел к Элеоноре. Представляю вам, сказал он ей, смеясь, того, который более всех других был поражен нечаянным вашим отъездом. Элеонора говорила с женщиною, сидевшею с нею рядом. Она меня увидела, и слова её замерли на языке; она со-

вершенно смешалась; я сам был очень расстроен.

Нас могли услышать; я обратился в Элеоноре с незначущими вопросами. Мы приняли оба наружность спокойствия. Доложили об ужине; я подал Элеоноре руку, от которой она не могла отказаться. Если вы не обещаете мне, сказал я, ведя ее к столу, принять меня в себе завтра в одиннадцать часов, я сей час еду, покидаю отечество мое, семейство родителей, расторгаю все связи, отказываюсь от всех обязанностей, и куда бы ни было, пойду искать конца жизни, которую вам весело отравить. Адольф! отвечала она, и запиналась. Я показал движением, что удаляюсь. Не знаю, что мои черты обнаружили, но я никогда не испытывал подобного сотрясения.

Элеонора взглянула на меня: ужас, смешанный с нежным участием, изобразился на лице её. Приму вас завтра, сказала она мне, но умоляю вас... За нами следовали многие; она не могла договорить. Я прижал к себе её руку, мы сели на стол.

Мне хотелось-было сесть возле Элеоноры, но хозяин дома распорядил иначе: я сел почти против неё. В начале ужина она была задумчива. Когда речь обращалась к ней, она отвечала приветливо; но вскоре впадала в рассеянность. Одна из приятельниц, пораженная её молчаливостью и унынием, спросила ее: не больна ли она? Я не хорошо себя чувствовала в последнее время, отвечала она, и теперь еще очень расстроена. Я домогался произвести в уме Элеоноры впечатление приятное; мне хотелось показывать себя любезным и остроумным, расположить ее в мою пользу и приготовить к

свиданию, которое она мне обещала. Я таким образом испытывал тысячу средств привлечь внимание её. Я наводил разговор на предметы для неё занимательные: соседы наши вмешались в речь; я был вдохновен её присутствием: я добился до внимания её, увидел её улыбку. Я так этому обрадовался; взгляды мои выразили такую признательность, что она была ими тронута. Грусть её и задумчивость рассеялись: она уже не противилась тайной прелести, разливаемой по душе её свидетельством блаженства, которым я был ей обязан; и когда мы вышли из-за стола, сердца наши были в сочувствия, как будто никогда мы не были рознь друг с другом. Вы видите, сказал я ей, подав руку вести обратно в гостиную, как легко располагаете вы всем моим бытием: за какую же вину вы с таким удовольствием его терзаете?

Глава третья

Я провел ночь в бессоннице. Уже в душе моей не было места ни расчетам, ни соображениям; я признавал себя влюбленным добросовестно, истинно. Я побуждаем был уже не желанием успеха; потребность видеть ту, которую любил, наслаждаться присутствием её, владела мною исключительно. Пробило одиннадцать часов. Я поспешил к Элеоноре; она меня ожидала. Она хотела говорить: я просил ее меня выслушать; я сел возле неё, ибо с трудом мог стоять на ногах; я продолжал следующим образом, хотя впрочем и бывал вынуждаем прерывать свои речи.

Не прихожу прекословить приговору, вами произнесенному; не прихожу отречься от признания, которое могло вас обидеть: напрасно хотел бы я того. Любовь, вами отвергаемая, несокрушима. Самое напряжение, которым одолеваю себя, чтобы говорить с вами несколько спокойно, есть свидетельство силы чувства, для вас оскорбительного. Но я не с тем просил вас меня выслушать, чтобы подтвердить вам выражение нежности моей; напротив прошу вас забыть о ней, принимать меня по-прежнему, удалить воспоминания о минуте исступления, не наказывать меня за то, что вы знаете тайну, которую должен был заключить я во глубине души моей. Вам известно мое положение, сей характер, который почитают странным и диким, сие сердце, чуждое всех побуж-

дений света, одинокое посреди людей и однако же страдающее от одиночества, на которое оно осуждено. Ваша дружба меня поддерживала. Без этой дружбы я жить не могу. Я привык вас видеть, вы дали возникнуть и созреть сей сладостной привычке. Чем заслужил я лишение сей единственной отрады бытия, столь горестного и столь мрачного? Я ужасно несчастлив: я уже не имею достаточной бодрости для перенесения столь продолжительного несчастья; я ничего не надеюсь, ничего не прошу, хочу только вас видеть; но мне необходимо вас видеть, если я должен жить.

Элеонора хранила молчание. Чего страшитесь? продолжал я. Чего требую? Того, в чем вы не отказываете всем равнодушным и посторонним. Свет ли устрашает вас? Свет, погруженный в свои торжественные ребячества, не будет читать в сердце, подобном моему. Как не быть мне осторожным? Не о жизни ли моей идет дело? Элеонора, склонитесь на мое моление, и для вас оно будет не без сладости. Вы найдете некоторую прелесть быть любимой таким образом, видеть меня при себе занятым одною вами, живущим для вас одной, вам обязанным за все ощущения блаженства, на которые я еще способен, отторгнутым присутствием вашим от страдания и отчаяния.

Я долго продолжал таким образом, опровергая все возражения, пересчитывая тысячу средств все суждения, ходатайствующие в мою пользу. Я был так покорен, так безропотно предан, я так малого требовал, я был бы так несчаст-

лив отказом!

Элеонора была растрогана. Она предписала мне несколько условий. Согласилась видеть меня, только, редко, посреди многолюдного общества и под обязательством никогда не говорить ей о любви. Я обещал все, чего она хотела. Мы оба были довольны: я тем, что вновь приобрел благо, почти утраченное; она тем, что видела себя равно великодушною, нежною и осторожною.

С другого же дня воспользовался я полученным позволением. Все следующие дни делал тоже. Элеонора уже не помышляла о необходимости, чтоб не часто повторялись посещения мои: вскоре ей казалось совершенно естественным видеть меня ежедневно. Десять лет верности внушили Графу П... доверенность неограниченную. Он давал Элеоноре полную свободу. Боровшись с мнением, хотевшим исключить любовницу его из общества, к которому сам был призван, он радовался, видя, что круг знакомства Элеоноры размножается: дом его, наполненный гостями, свидетельствовал ему о победе над мнением.

При входе моем я заметил во взорах Элеоноры выражение удовольствия. Когда разговор был по ней, глаза её невольно обращались на меня. При рассказе занимательном, она призывала меня слушать; но она никогда не бывала одна. Целые вечера проходили так, что мне едва удавалось сказать ей с глазу на глаз несколько слов незначительных или прерываемых. Вскоре такое принуждение начало меня раздра-

жать. Я стал мрачен, молчалив, неровен в обхождении, язвительен в моих речах. Едва мог я воздерживать себя, когда видел, что другие говорят наедине с Элеонорой. Я круто прерывал сии разговоры. Мне дела не было, оскорбятся ли тем или нет, и я не всегда был удерживаем опасением повредить Элеоноре. Она жаловалась мне на эту перемену. Чтож делать? отвечал я ей с нетерпением. Вы без сомнения думаете, что многое для меня сделали: я вынужден сказать вам, что вы ошибаетесь. Я вовсе не постигаю нового образа жизни вашей. Прежде вы жили уединенно; вы убегали общества утомительного; вы устранялись от этих вечных разговоров, продолжающихся именно потому, что их никогда начинать бы не надлежало. Ныне ваши двери настеж для всего мира. Подумаешь, что, умоляя вас принимать меня, я не одному себе, но и целой вселенной выпросил ту же милость. Признаюсь, видя вас некогда столь осторожною, не думал я увидеть вас столь ветренною.

Я рассмотрел в чертах Элеоноры впечатление гнева и грусти. Милая Элеонора, сказал ей тотчас, умеряя себя, разве я не заслуживаю быть отличен от тысячи докучников, вас обступающих? Дружба не имеет ли своих тайн? Не подозрительна ли и не робка ли она посреди шума и толпы?

Элеонора, оставаясь непреклонною, боялась повторения неосторожностей, которые пугали ее на себя и за меня. Мысль о разрыве уже не имела доступа к её сердцу: она согласилась видеть иногда меня наедине.

Тогда поспешно изменились строгия правила, мне предписанные. Она мне позволила живописать ей любовь мою; она постепенно свыклась с этим языком: скоро призналась, что она меня любит.

Несколько часов лежал я у ног её, называя себя благополучнейшим из смертных, расточая ей тысячу уверений в нежности, в преданности и в уважении вечном. Она рассказала мне, что выстрадала, испытывая удалиться от меня; сколько раз надеялась, что угадаю её убежище вопреки её стараниям; как малейший шум, поражавший слух её, казался ей вестью моего приезда; какое смятение, какую радость, какую робость ощутила она, увидев меня снова; с какою недоверчивостью к себе, чтобы склонность сердца своего примирить с осторожностью, предалась она рассеянности света и стала искать толпы, которой прежде избегала. Я заставлял ее повторять малейшие подробности, и сия повесть нескольких недель казалась нам повестью целой жизни. Любовь каким-то волшебством добавляет недостаток продолжительных воспоминаний. Всем другим привязанностям нужно минувшее. Любовь, по мгновенному очарованию, создает минувшее, коим нас окружает. Она дает нам, так сказать, тайное сознание, что мы многие годы прожили с существом еще недавно нам чуждым. Любовь – одна точка светозарная, но, кажется, поглощает все время. За несколько дней не было её, скоро её не будет; но пока есть она, разливает свое сияние на эпоху прежде-бывшую и на следующую за нею.

Сие спокойствие не было продолжительно. Элеонора тем более остерегалась своего чувства, что она была преследуема воспоминанием о своих поступках. А мое воображение, мои желания, какая-то наука светского самохвальства, которого я сам не замечал, восставали во мне против подобной любви. Всегда робкий, часто раздраженный, я жаловался, выходил из себя, обременял Элеонору укоризнами. Не один раз замышляла она разорвать союз, проливающий на жизнь её одно беспокойствие и смущение; не один раз смягчал я ее моими молениями, отрицаниями, слезами.

Элеонора, писал я ей однажды, вы не ведаете всех страданий моих. При вас, без вас, я равно несчастлив. В часы, нас разлучающие, скитаюсь без цели, согбенный под бременем существования, которого я нести не в силах. Общество мне докучает; уединение меня томит. Равнодушные, наблюдающие за мною, не знают ничего о том, что меня занимает, глядят на меня с любопытством без сочувствия, с удивлением без сострадания; сии люди, которые осмеливаются говорить мне не об вас, наносят на душу мою скорбь смертельную. Я убегаю от них; но одинокий ищущий бесполезно воздуха, который проникнул бы в мою стесненную грудь. Кидаюсь на землю; желаю, чтобы она расступилась и поглотила меня навсегда; опираюсь головою на холодный камень, чтобы утолил он знойный недуг, меня пожирающий; взбираюсь на возвышение, с коего виден ваш дом; пребываю неподвижен, уставя глаза мои на эту обитель, в которой никогда не

буду жить с вами. А если бы я встретил вас ранее, вы могли быть моею! Я прижал бы в свои объятия творение, которое одно образовано природою для моего сердца, для сердца столько страдавшего, потому что оно вас искало и встретило слишком поздно. Наконец, когда минут сии часы иступления, когда настанет время, в которое могу вас видеть, обращаюсь с трепетом на дорогу, ведущую в вашем доме. Боюсь, чтобы все встречающие меня, не угадали чувств, которые ношу в себе; останавливаюсь, иду медленными шагами; отсрочиваю мгновение счастья всегда и всем угрожаемого, которое страшусь утратить, счастья, несовершенного и неясного, против которого, может быть, ежеминутно злоумышляют и бедственные обстоятельства, и ревнивые взгляды, и тираннические прихоти, и ваша собственная воля. Когда ступлю на порог ваших дверей, когда растворяю их, я объят новым ужасом: подвигаюсь, как преступник, умоляющий помилования у всех предметов, попадающихся мне в глаза – как будто все они во мне неприязненны, как будто все они завистливы за час блаженства, которой я еще готовлюсь вкусить. Вздрагиваю от малейшего звука, пугаюсь малейшего движения около себя; шум собственных шагов моих наставляет меня отходить обратно. Уже близ вас, я боюсь еще, чтобы какая-нибудь преграда внезапно не восстала между вами и мною. Наконец я вас вижу, вижу вас и дышу свободно, созерцаю вас и останавливаюсь, как беглец, который коснулся до благодетельной почвы, спасающей его от

смерти. Но и тогда, когда все существо мое рвется в вам, когда мне было бы так нужно отдохнуть от стольких сотрясений, приложить голову мою в ваших коленах, дать вольное течение слезам моим, должно мне еще превозмогать себя насильственно, должно мне и возле вас жить еще жизнью вынужденною. Ни минуты откровенности! ни минуты свободы! Ваши взгляды стерегут меня; вы смущаетесь, почти оскорбляетесь моим смятением. Не знаю, что за неволя последовала за часами восхитительными, в которые вы мне, по крайней мере, признавались в любви вашей! Время улетает; новые заботы вас призывают: вы их не забываете никогда; вы никогда не отсрочиваете мгновенья, в которое мне должно вас оставить. Наезжают чужие; мне уже не позволено смотреть на вас: чувствую, что мне должно удалиться для избежания подозрений, меня окружающих. Я вас покидаю более волнуемый, более терзаемый, безумнее прежнего; я вас покидаю, и впадаю снова в ужасное одиночество; изнемогаю в нем, не видя перед собою ни одного существа, на которое мог бы опереться и отдохнуть на минуту.

Элеонора не была никогда любима таким образом. Граф П... питал в ней истинную привязанность, большую признательность за её преданность, большое почтение за её характер; но в обхождении его с нею была всегда оттенка превосходства над женщиною, которая гласно отдалась ему без брака. Он мог заключить союз более почетный, по общему мнению; он ей не говорил этого; может быть, и сам себе в том

не признавался: но то, о чем мы умалчиваем, не менее того есть; а все, что есть, угадывается. Элеонора не имела никакого понятия о сем чувстве страстном, о сем бытии, в её бытии теряющемся, о чувстве, в котором были беспрекословными свидетельствами самые мои исступления, моя несправедливость и мои упреки. Упорство её воспалило все мои чувствования, все мои мысли. От бешенства, которое пугало ее, я обращался к покорности, к нежности, в благоговению идолопоклонническому. Я видел в ней создание небесное: любовь моя походила на поклонение, и оно тем более в глазах её имело прелести, что она всегда боялась оскорбления в противном смысле. Наконец она предалась мне совершенно.

Горе тому, кто, в первые минуты любовной связи, не верит, что эта связь должна быть бесконечною. Горе тому, кто в объятиях любовницы, которую он только что покорил, хранит роковое предведение, и предвидит, что ему некогда можно будет оставить ее. Женщина, увлеченная сердцем своим, имеет в эту минуту что-то трогательное и священное. Не наслаждения, не природа, не чувства развратители наши, нет, а расчеты, в которых мы привыкаем в обществе, и размышления, рождающиеся от опытности. Я любил, уважал Элеонору в тысячу раз более прежнего, в то время, когда она отдалась мне. Я гордо представал людям и обращал на них владычественные взоры. Воздух, которым я дышал., был уже наслаждением; я стремился к природе, чтобы благодарить ее за благодеяние нечаянное, за благодеяние безмерное, которым

она меня наградила.

Глава четвертая

Прелесть любви, кто мог бы тебя описать! Уверение, что мы встретили существо, предопределенное нам природою; сияние внезапное, разлитое на жизнь и как будто изъясняющее нам загадку её; цена неизвестная, придаваемая мало-важнейшим обстоятельствам; быстрые часы, коих все подробности самую сладостью своею теряются для воспоминания и оставляют в душе нашей один продолжительный след блаженства; веселость ребяческая, сливающаяся иногда без причины с обычайным умилением; столько радости в присутствии и столько надежды в разлуке; отчуждение от всех забот обыкновенных; превосходство над всем, что нас окружает, убеждение, что отныне свет не может достигнуть нас там, где мы живем; взаимное сочувствие, угадывающее каждую мысль и отвечающее каждому сотрясению; прелесть любви – кто испытал тебя, тот не будет уметь тебя описывать!

По необходимым делам граф П. принужден был отлучиться на шесть недель. Я почти все это время провел у Элеоноры непрерывно. От принесенной мне жертвы привязанность её, казалось, возросла. Она никогда не отпускала меня, не старавшись удержать. Когда я уходил, она спрашивала у меня, скоро ли возвращусь. Два часа разлуки были ей несносны. Она с точностью боязливо определяла срок моего возвращения. Я всегда соглашался радостно. Я был бла-

годарен за чувство, был счастлив чувством, которое она мне оказывала. Однако же обязательства жизни ежедневной не поддаются произвольно всем желаниям нашим. Мне было иногда тяжело видеть все шаги мои, означенные заранее, и все минуты таким образом исчисленные. Я был принужден торопить все мои поступки и разорвать почти все мои светские сношения. Я не знал, что сказать знакомым, когда мне предлагали поездку, от которой в обыкновенном положении я отказаться не имел бы причины. При Элеоноре я не жалел о сих удовольствиях светской жизни, которыми я никогда не дорожил; но я желал, чтобы она позволила мне отвязываться от них свободнее. Мне было бы сладостнее возвращаться к ней по собственной воле, не связывая себе, что час приспел, что она ждет меня с беспокойством, и не имея в виду мысли о её страдании, сливающейся с мыслью о блаженстве, меня ожидающем при ней. Элеонора была, без сомнения, живое удовольствие в существовании моем; но она не была уже целью: она сделалась связью! Сверх того я боялся обличить ее. Мое непрерывное присутствие должно было удивлять домашних, детей, которые могли подстергать меня. Я трепетал от мысли расстроить её существование. Я чувствовал, что мы не могли быть всегда соединены, и что священный долг велит мне уважать её спокойствие. Я советовал ей быть осторожною, все уверяя ее в любви моей. Но чем более давал я ей советов такого рода, тем менее была она склонна меня слушать. Между тем я ужасно боялся ее огорчить. Едва

показывалось на лице её выражение скорби, и воля её делалась моею волею. Мне было хорошо только тогда, когда она была мною довольна. Когда настаивая в необходимости удалиться от неё на некоторое время, мне удавалось ее оставить, то мысль о печали, мною ей нанесенной, следовала за мною всюду. Меня схватывали судороги угрызений, которые усиливались ежеминутно и наконец становились неодолимыми; я летел к ней, радовался тем, что утешу, что успокою ее. Но, по мере приближения в её дому, чувство досады на это свое-нравное владычество мешалось с другими чувствами. Элеонора сама была пылка. В её прежних сношениях, сердце её было утеснено тягостною зависимостью. Со мною была она в совершенной свободе; потому что мы были в совершенном равенстве. Она возвысилась в собственных глазах любовью чистою от всякого расчета, всякой выгоды; она знала, что я был уверен в любви её во мне собственно для меня. Но от совершенной непринужденности со мною она не утаивала от меня ни одного движения; и когда я возвращался к ней в комнату, досадуя, что возвращаюсь скорее, нежели хотел, я находил ее грустною или раздраженною. Два часа заочно от неё мучился я мыслью, что она мучится без меня: при ней мучился я два часа пока не успевал ее успокоить.

Между тем я не был несчастлив: я утешался, как сладостно быть любимым, даже и с этою взыскательностью. Я чувствовал, что делаю ей добро: счастье её было для меня необходимо, и я знал, что я необходим для её счастья.

К тому же, неясная мысль, что по самым обстоятельствам связь сия не могла продлиться, мысль печальная по многим отношениям, содействовала отчасти к успокоению моему в припадках усталости или нетерпения. Обязательство Элеоноры с графом П... , неровность лет наших, разность наших положений, отъезд мой, и то уже по различным случаям отлагаемый, однако же неминуемый и в скором времени, все сии соображения побуждали меня еще расточать и забирать как можно более счастья: уверенный в годах, я за дни не спорил.

Граф П... возвратился. Он скоро начал подозревать сношения мои с Элеонорою. С каждым днем прием его был со мною холоднее и мрачнее. Я с участием говорил Элеоноре об опасностях, ей предстоящих; умолял ее позволить мне прервать на несколько дней мои посещения; представлял ей пользу её доброго имени, благосостояния, детей. Долго слушала она меня в молчании: она была бледна как смерть. Как бы то ни было, сказала она мне наконец, ни скоро уедете; не станем упреждать эту минуту: обо мне не заботьтесь. Выгадаем несколько дней, выгадаем несколько часов: дни, часы, вот все то, что мне нужно. Не знаю, какое-то предчувствие мне говорит, Адольф, что я умру в ваших объятиях.

И так мы продолжали быть по-прежнему: я всегда беспокоен, Элеонора всегда печальна, Граф П... угрюм и молчалив. Наконец, ожидаемое мною письмо пришло. Родитель мой приказывал мне приехать к нему. Я понес это письмо

к Элеоноре. Уже! сказала она мне, прочитав его; я не думала, что так скоро. Потом, обливаясь слезами, взяла она меня за руку и сказала: Адольф! вы видите, я не могу жить без вас; не знаю, что со мной будет, но умоляю вас, не сейчас уезжайте, останьтесь под каким-нибудь предлогом, попросите родителя вашего позволить вам пробить здесь еще шесть месяцев. Шесть месяцев, долго ли это? Я хотел оспорить её мнение, но она так горько плавала, так дрожала, черты её носили отпечаток скорби столь раздирающей, что я не мог продолжать. Я кинулся к ногам её, сжал ее в свои объятия, уверил в любви и вышел писать ответ отцу моему, Я в самом деле писал с движением, приданным мне горестью Элеоноры. Я представил тысячу причин к отлагательству, выставил пользу продолжать в Д. несколько курсов, которые не успел выдержать в Геттингене и, отправляя письмо на почту, я горячо желал получить согласие на мою просьбу.

Вечером возвратился я в Элеоноре. Она сидела на софе; граф П... был у камина, довольно поодаль от неё; двое детей сидели в глубине комнаты, не играя и выражая на лицах своих удивление детства, которое замечает расстройство, не постигая причины. Данным знаком я уведомил Элеонору, что исполнил её желание. Луч радости проблеснул в её глазах, но вскоре исчезнул. Мы не говорили ни слова; молчание становилось затруднительным для всех троих. – Меня уверяют, милостивый государь, сказал мне наконец, граф, что вы готовитесь ехать. Я отвечал, что еще не знаю того. – Мне кажет-

ся, возразил он, что в ваши лета не должно медлить вступить на какое-нибудь поприще: впрочем, продолжал он, взгляды-вая на Элеонору, может быть, здесь не все думают одинаково со мною.

Я не долго ждал отцовского ответа. Распечатывая письмо, трепетал, вообразив, какую печаль нанесет Элеоноре отказ отца моего. Мне казалось даже, что я разделил бы сию грусть с равною силою; но, прочитав изъявление его согласия, я скоропостижно был объят мыслью о всех неудобствах дальнейшего здесь пребывания. – Еще шесть месяцев принуждения и неволи, вскричал я, еще шесть месяцев оскорблять мне человека, который принимал меня с дружбою, предавать опасности женщину, меня любящую, которой угрожаю утратою единственного положения, обещающего ей спокойствие и уважение, еще обманывать отца моего; и для чего? чтобы на минуту не преодолеть печали, рано или поздно неминуемой? Не испытываем ли сей печали ежедневно по частям, по капле за каплею? Я только гублю Элеонору. Мое чувство, каково оно есть, не может ее удовлетворить. Я жертвую ей собою бесплодно для счастья её; я живу здесь без пользы, в неволе, не имея ни минуты свободной, не видя возможности час один подышать спокойно. Я вошел в Элеоноре, еще весь озабоченный этими размышлениями и застал ее одну. – Остаюсь еще на шесть месяцев, сказал я ей. – Вы уведомляете меня о том очень сухо. – Признаюсь, от того, что за вас и за себя страшусь последствий отсрочки. – Кажется, по-крайней

мере, для вас не могут они быть слишком неприятны. — Вы уверены, Элеонора, что я не о себе всегда более забочусь. — Но не очень и о счастья других. — Разговор принял бурное направление. Элеонора оскорбилась моим сожалением в таком случае, где, казалось ей, должен я был разделить её радость. Я оскорблен был торжеством, одержанным ею над прежним моим решением. Ошибка наша разгорелась. Мы вспыхнули взаимными упреками. Элеонора обвиняла меня в том, что я обманул ее, имел в ней одну минутную склонность, отвратил от неё привязанность графа и поставил ее в глазах света в то сомнительное положение, из коего выдти старалась она во всю жизнь свою. Я досадовал, зачем она обращает против меня все то, что я исполнил из одной покорности в ней, из одного страха ее опечалить. Я жаловался на свое жестокое утеснение, на бездействие, в котором изнемогала моя молодость, на деспотизм её, тяготеющий на всех моих поступках. Говоря таким образом, я увидел лицо её, облитое слезами: я остановился; подаваясь обратно, отрицал, изъяснял. Мы поцеловались: но первый удар был нанесен; первая преграда была переступлена. Мы оба выговорили слова неизгладимые: мы могли умолкнуть, но не могли забыть сказанного. Долго не говоришь иного друг другу; но что однажды высказано, то беспрерывно повторяется.

Мы прожили таким образом четыре месяца в сношениях насильственных, иногда сладостных, но никогда совершенно свободных. Мы находили в них еще удовольствие; но уже не

было прелести. Элеонора однакоже не чуждалась меня. После наших самых жарких споров, она так же хотела нетерпеливо меня видеть, назначала час нашего свидания с такою же заботливостью, как будто связь наша была по-прежнему равно безмятежна и нежна. Я часто думал, что самое поведение мое содействовало к сохранению Элеоноры в таком расположении. Еслибы я любил ее так, как она меня любила, то она более владела бы собою: она с своей стороны размышляла бы об опасностях, которыми пренебрегала. Но всякая предосторожность была ей ненавистна; потому что предосторожность была моим попечением. Она не исчисляла своих жертвований, потому что была озабочена единым старанием, чтобы я не отринул их. Она не имела времени охладеть ко мне, потому что все время, все её усилия были устремлены к тому, чтобы удержать меня. Эпоха, снова назначенная для моего отъезда, приближалась – и я ощущал, помышляя о том, смешение радости и горя, подобно тому, что ощущает человек, который должен купить несомнительное исцеление операциею мучительною.

В одно утро Элеонора написала мне, чтобы я сейчас явился к ней. Граф, связала она, запрещает мне вас принимать: не хочу повиноваться сей тираннической воле. Я следовала за этим человеком во всех его изгнаниях; я спасла его благосостояние; я служила ему во всех его предприятиях. Он теперь может обойтись без меня; я не могу обойтись без вас. Легко угадать все мои убеждения для отвращения её от намерения,

которого я не постигал. Говорил я ей о мнении общественном. – Сие мнение, отвечала она, никогда не было справедливо ко мне. Я десять лет исполняла обязанности свои строже всякой женщины, и мнение сие тем не менее отчуждало меня от среды, которой я была достойна. Я напоминал о детях её. – Дети мои – дети графа П... Он признал их; он будет о них заботиться: для них будет благополучием позабыть о матери, с которою делиться им одним позором. Я удвоивал мои моления. – Послушайте, связала она: если я разорву связь мою с графом, откажетесь ли вы меня видеть? Откажетесь ли? повторила она, схватывая меня за руку с сильным движением, от которого я вздрогнул. – Нет, без сомнения, отвечал я, и чем вы будете несчастнее, тем я буду вам преданнее. Но рассмотрите... – Все рассмотрено, прервала она. Он скоро возвратится; удалитесь теперь; не приходите более сюда.

Я провел остаток дня в тоске невыразимой. Прошло два дня; я ничего не слышал об Элеоноре. Я мучился неведением об её участи; я мучился даже и тем, что ее вижу её, и дивился печали, наносимой мне сим лишением. Я желал однако же, чтобы она отвязалась от намерения, которого я так боялся за нее, и начинал ласкать себя благоприятным предположением, как вдруг женщина принесла мне записку, в которой Элеонора просила меня быть в ней в такой-то улице, в таком-то доме, в третьем этаже. Я бросился туда, надеясь еще, что за невозможностью принять меня в жилище графа П... она по-

желала видиться со мною в другом месте в последний раз. Я застал ее за приготовлениями перемещений: она подошла во мне с видом довольным и вместе робким, желая угадать из глаз моих впечатление мое. — Все расторгнуто, связала она мне: я совершенно свободна. Собственного имения моего у меня семьдесят пять червонцев ежегодного дохода: их станет мне. Вы остаетесь еще шесть недель; когда уедете, мне авось можно будет сблизиться с вами: вы, может быть, возвратитесь ко мне. И как будто, страшась ответа, она приступила ко множеству подробностей, относительных до планов её. Она тысячью средств старалась уверить меня, что будет счастлива, что ничем не пожертвовала, что решение, избранное ею, до мысли ей и независимо от меня. Очевидно было, что она сильно превозмогала себя и не верила половине того, что говорила. Она оглушала себя своими словами, боясь услышать мои: она деятельно расплужала речи свои, чтобы удалить минуту, в которую возражения мои повергнут ее в отчаяние. Я не мог отыскать в сердце своем силы ни на одно возражение. Я принял её жертву, благодарил за нее, сказал, что я ею счастлив; сказал ей еще более: уверил, что я всегда желал приговора неизменяемого, который наложил бы на меня обязанность никогда не покидать ее; приписывал свое недоумение чувству совестливости, запрещающему мне согласиться на то, что совершенно ниспровергает её состояние. В эту минуту, одним словом, я полон был единою мыслью: отвратить от неё всякую печаль, всякое опасение, вся-

кий страх, всякое сомнение в чувстве моем. Пока я говорил с нею, я не взирал ни на что за сею целью, и я был искренен в моих обещаниях.

Глава пятая

Разрыв Элеоноры с графом П... произвел в обществе действие, которое легко было предвидеть. Элеонора утратила в одну минуту плод десятилетней преданности и постоянности: ее причислили к прочим женщинам разряда её, которые увлекаются без стыда тысячью поочередных склонностей. Забвение детей заставило почитать ее за бесчувственную мать, и женщины имени беспорочного твердили с удовольствием, что небрежение добродетели, нужнейшей для их пола, должно вскоре распространиться и на все прочия. Между тем жалели об ней, чтоб не упустить случая винить меня. Видели в поведении моем поступок соблазнителя неблагодарного, который поругался гостеприимством и пожертвовал, для удовлетворения беглой прихоти, спокойствием двух особ, из коих одну должен был почитать, а другую пощадить. Некоторые приятели отца моего строго выговаривали мне на мой проступок; другие, менее свободные со мною, давали мне чувствовать неодобрение свое разными намеками. Молодежь напротив восхищалась искусством, с которым я вытеснил графа; и тысячью шуток, которые напрасно я хотел остановить; она поздравляла меня с моей победою и обещалась подражать мне. Не умею выразить, что я вытерпел от сих строгих осуждений и постыдных похвал. Я уверен, что если бы во мне была любовь к Элеоноре, я успел бы восста-

новить мнение о ней и о себе. Такова сила чувства истинного: когда оно заговорит, лживые толки и поддельные условия умолкают. Но я был только человек слабый, признательный и порабощенный. Я не был поддерживаем никаким побуждением, стремящимся из сердца. И потому я выражался с замешательством; старался прервать разговор; и если он продолжался, то я прекращал его жесткими словами, изъявляющими другим, что я готов был на ссору. В самом деле, мне приятнее было бы драться с ними, нежели им отвечать.

Элеонора скоро увидела, что общее мнение восстало против неё. Две родственницы графа П..., принужденные его влиянием сблизиться с нею, придали большую огласку разрыву своему, радуясь, что под сению строгих правил нравственности могли предаться долго обузданному недоброжелательству. Мущины не переставали видеть Элеонору; но в обращении с нею допускали какую-то вольность, показывающую, что она уже не была ни поддержана покровительством сильным, ни оправдана связью почти освященною. Иные говорили, будто ездят к ней потому, что знали ее издавна, другие потому, что она еще хороша, и что последняя ветренность её пробудила в них надежды, которых они от неё уже не таили. Каждый объяснял свою связь с нею: то-есть, каждый думал, что эта связь требует извинения. Таким образом несчастная Элеонора видела себя навсегда упавшею в то положение, из которого всю жизнь свою старалась выдти. Все содействовало к тому, чтобы стеснять её душу и оскорб-

лять гордость её. Она усматривала в удалении одних доказательство презрения, в неотступности других признак какой-нибудь надежды оскорбительной. Одиночество мучило ее, а общество приводило в стыд. Ах! конечно мне должно было ее утешить, прижать к своему сердцу, сказать ей: будем жить друг для друга, забудем людей, нас не понимающих, будем счастливы одним собственным уважением и одною собственной любовью: я то и делал. Но можно ли принятым по обязанности решением оживить чувство угасающее?

Мы притворствовались друг перед другом. Элеонора не смела поверить мне печали, плода своей жертвы, которой, как ей известно было, я не требовал. Я принял сию жертву: я не смел жаловаться на несчастье, которое я предвидел, но которого не имел силы предупредить. Мы таким образом молчали о единой мысли, вас беспрестанно занимающей. Мы расточали друг другу ласки, говорили о любви, но говорили о любви из страха говорить о другом.

Когда уже есть тайна между двух сердец, любовью связанных; когда одно из них могло решиться утаить от другого единую мысль – прелесть исчезла, блаженство разрушено. Вспыльчивость, несправедливость, самое развлечение могут быть примиримы; но притворство кидает в любовь стихию чуждую, которая ее искажает и опозоривает в собственных глазах.

По странной необдуманности, в то самое время, когда я отклонял с негодованием малейший намек, предосудитель-

ный Эдеоноре, я сам содействовал к тому, чтобы вредить ей в общих разговорах. Я покорился её воле, но возненавидел владычество женщин. Я беспрестанно восставал против их слабостей, их взыскательности и самовластия печали их. Я выказывал правила самые жесткия, и сей самый человек, которой не мог устоять против слезы, который уступал грусти безмолвной и бывал в разлуке преследуем образом скорби, им нанесенной – сей самый человек показывался во всех речах своих пренебрегающим и беспощадным. Все мои похвалы непосредственные в пользу Элеоноры не уничтожали впечатления, произведенного подобными словами. Меня ненавидели, ей сострадали, но не уважали её. Обвиняли ее в том, что она не умела внушить любовнику своему более почтения к её полу и более благоговения к связям сердечным.

Один из обыкновенных посетителей Элеоноры, который, после разрыва её с графом П..., изъявил ей живейшую страсть и вынудил ее искательствами нескромными отказать ему от дома, дозволил себе рассеивать о ней насмешки оскорбительные: я не мог их вынести. Мы дрались: я ранил его опасно, и сам был ранен. Не могу выразить беспокойствия, ужаса, благодарности и любви, изобразившихся в чертах Элеоноры, когда она меня увидела после сего приключения. Она переехала ко мне, не смотря на мои просьбы; она не покидала меня ни на минуту до моего выздоровления. Днем она мне читала, большую часть ночи сидела при мне: наблюдала малейшие мои движения, предупреждала каждое

желание. Ее заботливое сердоболие размножало её услуги, удвоивало силы её. Она беспрестанно твердила мне, что не пережила бы меня. Я исполнен был умиления я растерзан угрызениями. Я желал быть способным вознаградить привязанность столь постоянную и столь нежную: призывал на помощь к себе воспоминание, воображение, рассудок самый, чувство обязанности. Усилия тщетные! затруднительность положения, уверенность в будущем, которое должно разлучить нас, может быть, неведомое возмущение против уз, которых я расторгнуть не мог, меня внутренне снедали. Я укорял себя в неблагодарности, которую старался скрыть от неё. Мне больно было, когда она по-видимому сомневалась в любви столь ей необходимой: мне не менее было больно, когда она ей верила. Я чувствовал, что она меня превосходнее; я презирал себя, видя, что я её недостоин. Ужасное несчастье не быть любимым, когда любишь; но еще ужаснее быть любимым страстно, когда уже любить перестанешь. Я пренебрегал жизнью своею для Элеоноры, но я тысячу раз отдал бы эту самую жизнь, чтобы она была счастлива без меня.

Шесть месяцев, отсроченные мне родителем, миновались: должно было думать об отъезде. Элеонора ему не противилась, даже и не пыталась удерживать меня; но требовала обещания, что по исходе двух месяцев я или возвращусь к ней, или ей позволю съехаться со мною: я торжественно дал ей в том клятву. Каким обещанием не обязался бы я в минуту, когда видел, что она борется сама с собою и одолевает

свою печаль? Она могла бы требовать от меня не покидать её: я чувствовал в глубине души моей, что я не ослушался бы слез её. Я благодарен был, что она не прибегает к своей власти. Мне казалось, что за это я ее более полюбил. Впрочем я и сам не без живейшего сожаления расставался с существом, которое столь исключительно было мне предано. Есть в связях продолжительных что-то столь глубокое! они без ведома нашего обращаются в столь неотъемлемую часть нашего бытия! Издали с спокойствием мы замышляем решительное намерение разорвать их; нам сдается, что мы ожидаем нетерпеливо эпохи, для сего назначенной: но когда сей час настает, он поражает нас ужасом; и таково своеобразие нашего немощного сердца, что мы с ужасным терзанием покидаем тех, при которых пребывали без удовольствия.

Во время разлуки я писал исправно Элеоноре. Я разделен был между страхом огорчить ее моими письмами и желанием живописать ей только то, что я чувствую. Я желал, чтобы она угадала меня, но угадала без горести. Я поздравлял себя, когда мне удавалось словами: привязанность, дружба, преданность – замещать слово любовь; но вдруг мне представлялась бедная Элеонора, в грусти и одиночестве, имеющая отраду в одних моих письмах: и в конце двух страниц холодных, мерных, я наскоро приписывал несколько выражений пламенных, или нежных, способных обманывать ее снова. Таким образом, никогда не договаривая того, что могло бы ее удовлетворить, я проговаривался достаточно, чтобы

оставлять ее в заблуждении. Странного рода лживость, которая и самым успехом своим обращалась против меня, длила мою тоску и была мне нестерпима.

Я страдал с беспокойством дни, часы истекающие. Желаниями моими я замедлял ход времени: я трепетал, видя приближении эпохи, назначенной для исполнения обещаний. Я не вымыслил никакого средства к отъезду; не придумывал, как Элеонора могла бы поселиться в одном городе со мною. Может статься, ибо должно быть чистосердечным, может статься я и не желал того, Я сравнивал жизнь свою независимую и спокойную с жизнью торопливости, тревог и страданий, на которую обрекала меня страсть её. Мне так было любо чувствовать себя свободным, идти, придти, отлучиться, возвратиться, не озабочивая никого. Я в равнодушии других отдыхал, так сказать, от томительности любви её.

Я не смел однакоже подать подозрения Элеоноре, что желал бы отказаться от наших предположений. Она поняла из моих писем, что мне было бы трудно оставить родителя, и написала мне, что вследствие того начинает она готовиться к отъезду. Я долго удерживался оспаривать ее; не отвечал ей ничего точного по сему предмету; говорил ей неопределительно, что всегда буду рад знать, потом прибавил, стараться о её счастья: жалкия двоясмыслия, речи запутанные! мне больно было видеть, что они так темны, и я трепетал пояснить их. Наконец решился я говорить с нею откровенно: сказал себе, что я к тому обязан. Я восставил мою совесть

против моей слабости; я подкреплял себя мыслью о её спокойствия в виду образа печали её. Скорыми шагами ходил я по комнате моей; я твердил себе изустно то, что намеревался ей писать. Но едва вывел я несколько строк – и мое расположение изменилось: я рассматривал слова свои, уже не по смыслу, в них содержащемся, но по действию, которое они произведут неминуемо. Сверхестественная сила правила, как вопреки мне самому, рукою моею поработанною, и я довольствовался тем, что советовал ей отсрочку на несколько месяцев. Я не сказал того, что думал. Письмо мое не носило никаких признаков чистосердечия. Доводы, представляемые мною, были слабы, потому что они были не истинные.

Ответ Элеоноры был гневен; она полна была негодованием от желания моего несвидетелься с нею. Чего она от меня требовала? жить при мне безызвестною. Чего мог я страшиться от присутствия её в убежище сокровенном, посреди большего города, где никто ее не знал? Она всем мне пожертвовала: фортуною, детьми, доброю славою, она не просила другого возмездия за приношение свое, кроме позволения ждать меня смиренной рабынею, проводить со мною несколько минут в сутки, наслаждаться мгновениями, которые могу ей уделить. Она безропотно согласилась на двухмесячное отсутствие, не потому, что это отсутствие казалось ей необходимым, но потому, что я того желал; и когда она, тяжело досчитывая день за днем, достигла до срока, мною самим назначенного, я предлагаю ей начать снова сию про-

должительную казнь. Она могла ошибиться, могла предать жизнь свою человеку жестокому и бесчувственному; я властен был располагать своими поступками, но не властен был заставить ее страдать, брошенную тем, для которого она все принесла на жертву.

Элеонора скоро последовала за письмом своим. Она уведомила меня о своем приезде. Я пошел к ней с твердым намерением показать ей большую радость: мне не терпелось успокоить сердце её и доставить ей, по крайней мере мгновенно, несколько счастья и отдыха. Но она была уязвлена, оглядывала меня с недоверчивостью; она вскоре рассмотрела мои усилия; она раздражила гордость мою своими укоризнами; она оскорбила мой характер. Она мне представила меня столь ничтожным в моей слабости, что возмутила меня против себя еще более, нежели против самого меня. Безумное исступление овладело нами. Пощада была отвергнута; вежливость забыта. Можно было подумать, что мы друг на друга были устремлены фуриями. Мы взаимно применяли к себе все, что неукротимейшая вражда об нас разгласила: и сии два существа несчастные, которые одни на земле были не чужды друг другу, одни могли отдавать себе справедливость, понимать, утешать друг друга, казались двумя врагами непримиримыми, алчущими взаимной гибели.

Мы расстались после трехчасовой бури: и в первый раз в жизни расстались мы без объяснения, без примирения. Едва оставил я Элеонору, и глубокая горесть заступила гнев во

мне. Я был в каком-то беспамятстве, как оглушен тем, что было. Я повторял себе речи свои с удивлением: я не постигал поступка своего; искал в себе самом, что могло вовлечь меня в такое заблуждение.

Уже было поздно: я не смел возвратиться к Элеоноре. Дал себе слово увидеть ее рано на другой день, и поехал домой к отцу. У него было много гостей; мне легко было в собрании многолюдном держаться в стороне и скрывать смятение. Когда мы остались одни, он сказал мне: меня уверяют, что прежняя любовница графа П... в здешнем городе. Я всегда предоставлял тебе большую свободу и не хотел знать ничего о связях твоих: но тебе неприлично в твои лета иметь гласно признанную любовницу. Сказываю наперед, что я принял меры для удаления её отсюда. При сих словах он ушел. Я последовал за ним; знаком велел он мне удалиться. Бог свидетель, сказал я ему, что она здесь не по моему приглашению; Бог свидетель, что, лишь бы она была счастлива, я согласился бы за эту цену никогда более не видеть ее. Но будьте осторожны в том, что предпринимаете: думая меня разлучить с нею, вы можете легко привязать к ней навсегда.

Я тотчас позвал к себе служителя, ездившего со мною в моих путешествиях и знавшего связь мою с Элеонорою. Я поручил ему разведать в тот же час, если можно, каковы были меры, о которых говорил мне отец. Он возвратился после двух часов. Секретарь отцовский вверил ему за тайну, что Элеонора должна была на другой день получить прика-

зание выехать. Элеонора изгнанная! воскликнул я, изгнанная с позором! она, приехавшая сюда единственно для меня! она, которой растерзал я сердце, которой слезы видел я без жалости! Где же преклонила бы она голову, несчастная, скитающаяся, и одна в свете, которого уважения я же лишил ее! Кому поведала бы она свою скорбь! Я скоро решился. Я подкупил человека, который ходил за мною: расточал пред ним золото и обещания. Я заказал почтовую коляску к шести часам утра, замышлял тысячу предположений для моего вечного соединения с Элеонорой; я любил ее более, нежели когда-нибудь. Все мое сердце снова обратилось к ней; я с гордостью представлял себя покровителем её; я алкал прижать ее в мои объятия; любовь во всем могуществе своем возвратилась в мою душу. Я ощущал в голове, в сердце, в чувствах лихорадку, которая обуревала мое существование. Если бы в эту минуту Элеонора решилась на разрыв со мною, я умер бы у ног её, умоляя остаться при мне.

Рассветало; я побежал к Элеоноре, Она еще не вставала, за тем, что всю ночь провела в слезах; были еще глаза её заплаканы и волосы в беспорядке. Она увидела меня с удивлением. Вставай, сказал я ей, поедем. Она хотела отвечать. Поедем, повторил я: имеешь ли на земле иного покровителя, иного друга, кроме меня. Объятия мои не одно ли твое прибежище? Она упорствовала. У меня причины важные, прибавил я, причины мне личные. Ради Бога следуй за мною; я увлек ее насильно. Дорогою осыпал я ее ласками, прижи-

мал ее в сердце, на все вопросы её отвечал одними поцелуями. Наконец сказал я ей, что, заметив в отце моем желание разлучить нас, я почувствовал, что не могу быть счастлив без неё, что хочу посвятить ей всю мою жизнь и соединиться с нею всеми возможными узами. Благодарность её была сначала безмерна; но вскоре рассмотрела она противоречия в рассказе моем. Силою убедительности вырвала она из меня истину; радость её исчезла, лицо покрылось мрачным облаком. – Адольф, сказала она мне, вы сами себя обманываете – вы великодушны, вы мне жертвуете собою потому, что меня преследуют; вы думаете, что в вас действует любовь: в вас действует одна жалость. Зачем она произнесла сии бедственные слова? Зачем поведала мне тайну, которой никогда бы я знать не хотел? Я старался успокоить ее; быть может, и успел; но истина проникла мою душу: движение было остановлено; я был тверд в моей жертве; но я не был от того счастливее, и уже во мне была мысль, которую я снова принужден был таить.

Глава шестая

Доехав до границы, я написал к отцу. Письмо мое было почтительно, но в нем отзывалась горечь. Я досадовал на него, что он скрепил мои узы, думая разорвать их. Я объявлял ему, что не покину Элеоноры, пока не будет она прилично устроена и будет нуждаться в моей помощи. Я умолял, чтобы деятельною враждою своею, он не вынуждал меня быть навсегда к ней привязанным. Я ждал его ответа, чтобы знать на что решиться. «Вам двадцать – четыре года, отвечал он мне: не буду действовать против вас по праву власти, уже близкой предела своего и которой никогда я не обнаруживал: стану даже, по мере возможности, скрывать ваш странный поступок: распушу слух, что вы отправились по моему приказанию и по моим делам. Рачительно озабочусь содержанием вашим. Вы сами скоро почувствуете, что жизнь, избранная вами, не пристала вам. Ваше рождение, ваши дарования, ваша фортуна готовили вас в свет не на звание товарища женщины без отечества и без имени. Ваше письмо мне доказывает уже, что вы недовольны собою. Помните, что нет никакой выгоды оставаться в положении, от которого краснеешь. Вы расточаете напрасно лучшие лета вашей молодости, и сия утрата не возвратится».

Письмо отца пронзило меня тысячами кинжалов: я сто раз твердил себе то, что он мне говорил, и сто раз стыдился жиз-

ни своей, протекающей во мраке и в бездействии. Я предпочел бы упреки, угрозы; я поставил бы себе в некоторую славу противоборствовать, и почувствовал бы необходимость собрать силы свои для защиты Элеоноры от опасностей, ее постигающих. Но не было опасностей: меня оставляли совершенно свободным; и сия свобода служила мне только к перенесению с живейшим нетерпением ига, которое я, казалось, избрал добровольно.

Мы поселились в Бадене, маленьком городке Богемском. Я твердил себе, что, раз возложив на себя ответственность участи Элеонориной, я должен беречь ее от страданий. Я успел приневолить себя, и заключил в груди своей малейшие признаки неудовольствий, и все способы ума моего стремились созидать себе искусственную веселость, которая могла бы прикрывать мою глубокую горесть. Сия работа имела надо мною действие неожиданное. Мы существа столь зыбкия, что под конец ощущаем те самые чувства, которые сначала выказывали из притворства. Сокрываемые печали мои были мною отчасти забыты. Мои непрерывные шутки рассеивали мое собственное уныние; и уверения в нежности, коими ласкал я Элеонору, разливали в сердце моем нежное умиление, которое почти походило на любовь.

По временам воспоминания досадные осаждали меня. Когда я бывал один, я предавался припадкам тоски беспокойной: я замышлял тысячу странных предприятий, чтобы вдруг вырваться из сферы, в которой мне было неуместно.

Но я отражал сии впечатления, как тяжелые сны. Элеонора казалась счастливою; мог ли я смутить её счастье? Около пяти месяцев протекло таким образом.

Однажды я увидел Элеонору смущенною: она старалась утаить от меня мысль, ее занимавшую. После многих просьб она потребовала от меня обещания не противиться решению, принятому ею, и призналась, что граф П... писал к ней. Тяжба его была выиграна. Он вспоминал с признательностью услуги, ею оказанные, и свою десятилетнюю связь. Он предлагал ей половину фортуны своей, не с тем, чтобы соединиться с нею (соединение было уже делом невозможным), но на условии, что она бросит неблагодарного предателя, их разлучившего. Я отвечала, сказала она мне, и вы угадаете, что я отвергла предложение. Я слишком угадал ее, я был тронут; но я в отчаянии от новой жертвы, принесенной мне Элеонорою. Не смел я однакоже представить никакого возражения: все попытки мои в этом отношении были всегда так бесплодны!.. Я вышел, чтобы обдумать, на что решиться, мне ясно было, что наши узы должны быть разорваны. они были прискорбны мне, становились вредными ей: я был единственным ей препятствием в новом приобретении пристойной чреды и уважения, рано или поздно последующего в свете за богатством. Я был единственною преградой между ею и детьми её. У меня в собственных глазах не было оправдания. Уступить ей в этом случае было бы уже не великодушие, но преступная слабость: я обещал отцу сво-

ему быть снова свободным, когда уже не буду нужен Элеоноре. Наконец, настало для меня время вступить на поприще, начать жизнь деятельную, приобрести некоторые права на уважение людей, оказать благородное употребление моих способностей. Я возвратился к Элеоноре. Мне казалось, что я непоколебимо утвержден в намерении принудить Элеонору не отвергать предложений графа П... и объявить ей, если нужно будет, что уже во мне нет к ней любви. Милый друг, сказал я ей, можно несколько времени бороться с участью своею, но должно наконец покориться ей: законы общества сильнее воли человеческой; чувства самые повелительные разбиваются о роковое могущество обстоятельств. Напрасно упорствуем, советуемся с одним сердцем своим: рано или поздно мы осуждены внять рассудку. Я не могу удерживать вас долее в положении, недостойном равно и вас, и меня: я не могу того позволить себе ни для вас, ни для самого себя. По мере слов моих, которые произносил я, не глядя на Элеонору, я чувствовал, что мысли мои становились темнее, и решимость моя слабела. Я хотел завладеть опять своими силами; я продолжал голосом торопливым: я всегда останусь вашим другом; всегда сохраню к вам глубочайшую нежность. Два года связи нашей не изгладятся из памяти моей; они пребудут навсегда лучшею эпохою жизни моей. Но любовь, восторг чувств, сие упоение невольное, сие забвение всех выгод, всех обязанностей, Элеонора, уже не существуют во мне. Я долго ожидал ответа, не подымая глаз на

нее. Наконец взглянул. Она была неподвижна: она созерцала все предметы, как будто не различая ни одного. Я схватил её руку; она была холодна. Она меня оттолкнула. Чего хотите от меня? сказала она. Разве я не одна, одна в мире, одна без существа, мне внимающего? Что еще сказать хотите? Не все ли вы мне уже сказали? Не всему ли конец, конец безвозвратный? Оставьте меня, покиньте меня: не того ли вы желаете? Она хотела удалиться, она зашаталась; я старался поддержать ее; она без чувств упала к ногам моим; я приподнял ее, обнял, привел в память. — Элеонора, вскричал я, придите в себя; придите ко мне; люблю вас любовью, любовью нежнейшею. Я вас обманывал, хотел предоставить вам более свободы в выборе вашем. Легковерие сердца, ты неизъяснимо! Сии простые слова, изобличенные столькими предыдущими словами, возвратили Элеонору в жизни и к доверенности. Она заставила меня повторить их несколько раз: она, казалось, вдыхала их с жадностью. Она мне поверила: она упоилась любовью своею, которую признавала нашею; подтвердила ответ свой графу П..., и я увидел себя связанным более прежнего.

Спустя три месяца, новая возможность перемены показалась в судьбе Элеоноры. Один из поворотов обыкновенных в республиках, волнуемых раздорами, призвал отца её в Польшу и утвердил его в владении имения. Хотя он и едва знал дочь свою, по третьему году увезенную во Францию матерью её, но пожелал иметь ее при себе. Слух о приключении

ях Элеоноры глухо доходил до него в России, где он провел все время изгнания своего. Элеонора была единственной наследницею его. Он боялся одиночества, хотел для себя родственной попечительности: он занялся исключительно отысканием пребывания дочери своей, и когда узнал о нем, приглашал ее убедительно приехать к себе. Ей нельзя было чувствовать истинную привязанность в отцу, которого она не могла вспомнить. Она понимала однакоже, что ей надлежало повиноваться. Таким образом она обеспечивала судьбу детей своих большою фортуною и сама входила снова на степень, с которой низвели ее бедствия и её поведение. Но она мне объявила решительно, что не иначе поедет в Польшу, как со мною. Я уже в тех летах, сказала она мне, в которые душа раскрывается к новым впечатлениям! Отец мой для меня незнакомец. Если я здесь останусь, другие окружать его охотно; он так же будет счастлив, Детям моим придется имение графа П... Знаю, что вообще осудят меня, почтут дочерью неблагодарною и бесчувственною матерью; но я слишком страдала, я уже немолода, и мнение света мало владычествует надо мною. Если в моем решении и есть жестокость, то вам, Адольф, винить себя в этом. Если бы я могла доверить вам, может быть, и согласилась бы на разлуку, которой горечь была бы умерена упованием на соединение сладостное и прочное: но вы рады были бы увериться, что я в двух стах милях от вас, довольна и спокойна в недрах семейства моего и богатства. Вы писали бы мне по этому предмету

письма благоразумные, которые вижу заранее: они раздражали бы мое сердце; не хочу себя подвергнуть тому: не имею отрады сказать себе, что жертвою всей жизни своей я успела внушить вам чувство, коего достойна; по крайней мере вы приняли эту жертву. Я уже довольно страдала от холода обращения вашего и сухости наших отношений: я покорилась сим страданиям, вами мне налагаемым: не хочу вызывать на себя добровольных.

В голосе и речах Элеоноры было что-то резкое и неукротимое, означающее более твердую решительность, нежели чувство глубокое, или трогательное; с некоторого времени она раздражаема была заранее, когда меня просила о чем-нибудь, как будто я ей уже отказал. Она располагала моими действиями; но знала, что мой рассудок отрицает их. Она желала бы проникнуть в сокровенное святилище мысли моей и там переломить тайное сопротивление, возмущавшее ее против меня. Я говорил ей о моем положении, о требованиях отца моего, о моем собственном желании. Я умолял, и горячился: Элеонора была непоколебима. Я хотел пробудить её великодушие, как будто любовь не самое исключительное и себялюбивое из всех чувств, и следовательно, когда раз оно уязвлено, не менее ли всех великодушно! Я старался странным усилием умиливать ее несчастьем, на которое осужден я, оставаясь при ней; я успел только вывести ее из себя. Я обещал ей посетить ее в Польше: но она в неоткровенных обещаниях моих видела одно нетерпение оставить ее.

Первый год пребывания нашего в Кадене был на исходе, и еще не было перемены в положении нашем. Когда Элеонора видела меня мрачным и утомленным, она сначала грустила, после оскорблялась и вырывала у меня упреками своими признание в утомлении, которое желал бы я таить. С моей стороны, когда Элеонора казалась довольною, я досадовал, видя, что она наслаждается положением, стоящим мне счастья моего, и я тревожил ее в этом кратком наслаждении намеками, объясняющими ей то, что я внутренно ощущал. Мы таким образом поражали друг друга попеременно словами косвенными, чтобы после отступить в уверения общие, оправдания темные и укрыться в молчании. Мы так знали взаимно, о чем готовы были связать друг другу, что молчали, дабы не слышать того. Иногда один из нас готовился уступить; но мы упускали минуту благоприятную для сближения нашего. Наши сердца недоверчивые и уязвленные уже не сходились.

Я часто вопрошал себя, зачем остаюсь в таком тяжком положении: я отвечал себе, что, если удалюсь от Элеоноры, она за мною последует, и что таким образом я вынужу ее на новую жертву. Наконец сказал я себе, что должно удовлетворить ей в последний раз, и что ей нечего уже будет требовать, когда я водворю ее посреди семейства. Когда я готов был ей предложить ехать с нею в Польшу, она получила известие, что отец её умер скоропостижно. Он назначил ее единственною по себе наследницею; но его духовная не согласна бы-

ла с последующими его письмами, которыми угрожали воспользоваться дальние родственники. Элеонора, не смотря на слабые сношения, существовавшие между ею и отцем, была живо опечалена кончиною его. Она пеняла себе, что оставила его. Вскоре начала она меня осуждать за вину свою. Вы меня оторвали, говорила она мне, от обязанности священной. Теперь дело идет об одном имении моем: им еще скорее пожертвую для вас. Но решительно не поеду одна в землю, где встречу одних неприятелей. Я не хотел (отвечал ей) отвратить вас ни от какой обязанности; а желал, признаюсь, чтобы вы потрудились посудит, что и мне было тяжело изменить своим; а не мог заслужить от вас сей справедливости. Я сдаюсь, Элеонора. Польза ваша побеждает все прочия соображения. Мы поедем вместе, когда вам будет угодно.

Мы в самом деле отправились в дорогу. Развлечение пути, новизна предметов, усилия, которыми мы перемогали сами себя, пробуждали в нас по временам остаток искренности. Долгая свычка наша друг с другом, обстоятельства разнообразные, изведенные нами вместе, придали каждому слову, почти каждому движению воспоминания, которые переносили нас вдруг в минувшее и погружали в умиление невольное. Так молнии рассекают ночь, не разгоняя ее. Мы жили, так сказать, какою-то памятью сердца: она еще могла пугать нас горестью при мысли о разлуке; но мы уже не могли находить в ней счастья, оставаясь вместе. Я предавался сим впечатлениям, чтобы отдыхать от принуждения обычного. Я

желал показывать Элеоноре доказательства в нежности, которые казались бы ей удовлетворительными; я принимался иногда с нею за язык любви: но сии впечатления и сии речи походили на листья бледные и обесцвеченные, которые остатком изнемогающего прозябания томно растут на ветвях дерева, вырванного с корнем.

Глава седьмая

Элеонора с самого приезда своего водворена была в управление оспариваемых у неё поместий, под обязательством не располагать ими до окончательного решения тяжбы. Она поселилась в одном из них. Отец мой, никогда в письмах своих не приступавший прямо, только наполнял их намеками против моей поездки. «Вы извещали меня, писал он, что вы не поедете. Вы развили подробно предо мною все причины, по которым решились не ехать. И я вследствие того уверен был, что вы поедете. Могу только жалеть о вас, видя, как с вашим духом независимости вы всегда делаете то, чего не хотите. Впрочем не берусь судить о положении, не совершенно мне известном. Доселе вы казались мне покровителем Элеоноры, и в этом отношении было в ваших поступках что-то благородное, возвышающее ваш характер, не смотря на предмет вашей привязанности. Ныне отношения ваши уже не те: уже не вы ей покровительствуете, она покровительствует вам: вы живете у неё. Вы посторонний, которого вводит она в свое семейство. Не произнесу приговора над положением, избранным вами; но оно может иметь свои неудобства: и я желал бы умалить их по мере возможности своей. Пишу к барону Т..., нашему министру в вашем краю, и поручаю вас его благосклонности. Не знаю, почтете ли вы за нужное воспользоваться моим предложением; признайте

в этом, по крайней мере, доказательство моего усердия, а ни мало не покушение на независимость, которую вы всегда умели защищать с успехом против отца вашего».

Я подавил в себе размышления, рождаемые во мне слогом сего письма. Деревня, в которой жил я с Элеонорою, была не в дальнем расстоянии от Варшавы. Я поехал в город к барону Т...; он обошелся со мною ласково, расспросил меня о причинах пребывания моего в Польше, о моих дальнейших намерениях: я не знал, что отвечать ему. После нескольких минут принужденного разговора, он сказал мне: хочу говорить с вами откровенно. Знаю причины, которые привели вас в здешний край; ваш отец меня о них уведомил. Скажу даже, что понимаю их: нет человека, который не был бы раз в жизни мучим желанием пресечь связь неприличную, и страхом огорчить женщину, которую он любил. Неопытность молодости увеличивает без меры затруднения подобного положения: приятно доверять истине всех свидетельств горести, заменяющих в поле слабом и заносчивом все средства силы и рассудка. Сердце от того страдает, но самолюбие наслаждается; и тот, кто добродушно полагает, что предает себя в возмездие на жертву отчаянию им внушенному, в самом деле жертвует только обманам собственного тщеславия. Нет ни одной из страстных женщин, населяющих шар земной, которая не клялась, что убьют, покидая ее: нет ни одной еще, которая не осталась бы в живых и не утешилась. Я хотел прервать слова его. Извините меня, мой молодой друг,

сказал он мне, если изъясняюсь прямо: но все хорошее, об вас мне сказанное, дарования, заметные в вас; поприще, по коему должны вы пройти – все налагает на меня обязанность ничего от вас не утаивать. Читаю в душе вашей вопреки вам и лучше вас: вы уже не влюблены в женщину, господствующую вами и влекущую вас за собою; если бы еще любили ее, то не приехали бы ко мне. Вы знали, что отец ваш писал ко мне: вам легко было догадаться о том, что скажу вам; вам не досадно было слушать из уст моих рассуждения, которые вы сами себе повторяете непрерывно и всегда безуспешно. Имя Элеоноры не совершенно беспорочно... Прекратите, прошу вас, отвечал я, разговор бесполезный. Бедственные обстоятельства могли располагать первыми годами Элеоноры; можно судить о ней неблагоприятно по лживым признакам: но я знаю ее три года, и нет в мире души возвышеннее, её характера благороднее, сердца чище и бескорыстнее. Как вам угодно, возразил он, но подобных оттенков мнение не будет глубоко исследовать. Действия положительны; они гласны. Запрещая мне напоминать о них, думаете ли, что их уничтожаете? Послушайте, продолжал он, надобно знать в свете, чего хочешь? Вы на Элеоноре не женитесь? Нет, без сомнения, вскричал я; она сама никогда не желала того. Что же вы намерены делать? Она десятью годами вас старше. Вам двадцать-шесть лет; вы позаботитесь о ней еще лет десять. Она состарится: вы достигнете до половины жизни вашей, ничего не начав, ничего не кончив для вас удовлетворитель-

ного. Скука овладеет вами; тоска и досада овладеют ею: она с каждым днем будет вам менее приятна, вы с каждым днем будете ей нужнее; и рождение знаменитое, фортуна блестящая, ум отличный ограничатся тем, что вы будете прозябать в углу Польши, забытые друзьями вашими, потерянные для славы и мучимы женщиною, которая, чтобы вы ни делали, никогда довольна не будет. Прибавлю еще слово, и мы более уже не возвратимся в предмету, который приводит вас в замешательство. Все дороги вам открыты: литературная, воинская, гражданская; вы имеете право искать свойства с почетнейшими домами; вы рождены достигнуть всего; но помните твердо, что между вами и всеми родами успеха есть преграда неодолимая, и эта преграда Элеонора. Я почел обязанностью, милостивый государь, отвечать я ему, выслушать вас в молчании; но обязан я и для себя объявить вам, что вы меня не поколебали. Никто, кроме меня, повторяю, не может судить Элеонору. Никто не оценивает достаточно истины её чувствований и глубины её впечатлений. Пока я буду ей полезен, я останусь при ней. Никакой успех не утешит меня, если оставлю ее несчастною; а хотя и пришлось бы мне ограничить свое поприще единственно тем, что буду служить ей подпорою, что буду подкреплять ее в печалях её, что осению ее моею привязанностью от несправедливости мнения, не познавшего её, и тогда бы еще думал я, что дано мне было жить не напрасно.

Я вышел, доканчивая сии слова: но кто растолкует мне, по

какому непостоянству, чувство, внушившее мне их, погасло еще прежде, нежели успел я их договорить? Я захотел, возвращаясь пешком, удалить минуту свидания с этою Элеонорою, которую сейчас защищал; я поспешно пробежал весь город: мне не терпелось быть одному.

Достигнув поля, я пошел тише: тысяча мыслей обступили меня. Сии роковые слова: «между всеми родами успеха и вами есть преграда необоримая и эта преграда Элеонора», звучали вокруг меня. Я кинул долгий и грустный взгляд на время, протекшее без возврата: я припоминал себе надежды молодости, доверчивость, с которою некогда повелевал я будущим, похвалы, приветствовавшие мои первые опыты, зарю доброго имени моего, которая блеснула и исчезла предо мною; я твердил себе имена многих товарищей в учении, которыми пренебрегал я с гордостью, и которые одним упорным трудом и порядочною жизнью далеко оставили меня за собою на стезе фортуны, уважения и славы: мое бездействие давило меня. Подобно скупцам, представляющим себе в сокровищах, собираемых ими, все блага, которые бы можно было купить на эти сокровища, я видел в Элеоноре лишение всех успехов, на которые имел я права. Я сетовал не об одном поприще: не покусившись ни на одно, я сетовал о всех поприщах. Не испытав никогда сил своих, я почитал их беспредельными и проклинал их: я тогда желал бы родиться от природы слабым и ничтожным, чтобы оградить себя, по крайней мере, от упрека в добровольном унижении: всякая похвала,

всякое одобрение уму или познаниям моим были мне укоризною нестерпимую: мне казалось, что слышу, как удивляются мощным рукам бойца, скованного железами в глуши темницы. Хотел ли я уловить мою бодрость, сказать себе, что пора деятельности еще не миновалась: образ Элеоноры возникал предо мною как привидение и откидывал меня в ничтожность; я чувствовал в себе движения бешенства на нее, и по странному смешению сие бешенство ни мало не умеряло страха, во мне внушаемого мыслью опечалить ее.

Душа моя, утомленная сими горькими чувствами, искала себе вдруг прибежища в чувствах противоположных. Несколько слов, сказанных, может быть, случайно бароном, Т... о возможности союза сладостного и мирного, послужили мне к созданию себе идеала подруги, Я размыслился о спокойствии, об уважении, о самой независимости, обещанной мне подобною участью: ибо узы, которые влачил я так давно, держали меня в зависимости, тысячу раз тягостнейшей, нежели та, которой покорился бы я союзом признанным и законным. Я воображал себе радость отца моего; я ощущал в себе живейшее нетерпение приобрести снова в отечестве и в сообществе мне равных место, принадлежавшее мне по праву; я видел себя, строгою и безукорительною жизнью опровергающим приговоры, произнесенные обо мне злоречием холодным и ветренным, и все упреки, коими поражала меня Элеонора. Она обвиняет меня беспрерывно, говорил я, в том, что я суров, неблагодарен, без-

жалостлив. Ах, еслибы небо даровало мне подругу, которую приличия общественные позволили бы мне назвать своею, которую родитель мой, не краснея, мог бы наречь дочерью, я в тысячу раз был бы счастливее, видя себя виновником её счастья! Чувствительность, которой не признают во мне, потому что она сжата, страдает, потому что требуют от неё повелительно доказательств, в которых сердце мое отказывает заносчивости и угрозе, чувствительность сия обнаружилась бы во мне, еслибы мог я предаваться ей с любимым существом, спутником моим в жизни правильной и уважаемой. Чего я не сделал для Элеоноры? Для неё покинул я отечество и семейство; для неё опечалил я сердце престарелого отца, который грустит еще в разлуке со мною; для неё живу я в краях, где молодость моя утекает одинокая, без славы, без чести, без удовольствия: столько пожертвований, совершенных без обязанности и без любви, не показывают ли, чего могли бы ожидать от меня любовь и обязанность? Если я столько страшусь горести женщины, господствующей надо мною единою горестью своею, то как заботливо устранял бы я всякую скорбь и досаду от той, которой мог бы я себя гласно посвятить без угрызений и безраздельно! Сколько был бы я тогда не похож на то, что я ныне! Как горечь сия, которую мне ставят теперь в преступление, потому что источник её неведом, быстро убежала бы от меня! Сколько был бы я благодарен небу и благосклонен к людям!

Я говорил таким образом: глаза мои увлажнились слеза-

ми; тысяча воспоминаний вторгались потоками в мою душу. Мои сношения с Элеонорою сделали все сии воспоминания для меня ненавистными. Все, что припоминало мне мое детство; места, где протекли мои первые годы; товарищей моих первых игр; престарелых родственников, расточавших предо мною первые свидетельства нежного участия – все отозвалось, гнело меня: я вынужден был отражать, как мысли преступные, образы самые улыбочивые, желания самые сродные. Подруга, которую воображение мое внезапно создало, сливалась напротив со всеми этими образами и освящала все сии желания. Она соучаствовала мне во всех моих обязанностях, во всех моих удовольствиях, во всех моих вкусах. Она сдвигала мою жизнь настоящую с тою эпохою моей молодости, когда надежда разверзала мне столь обширную даль, с эпохою, от которой Элеонора отделила меня, как бездною. Малейшие подробности, маловажнейшие предметы живописались пред моею памятью: я видел вновь древнюю обитель, в которой жил я с родителем; леса, ее окружающие; реку, орошающую подошву стен её; горы, граничившие с небосклоном. Все сии явления вязались мне столь очевидными, столь исполненными жизни, что они поражали меня трепетом, который я выносил с трудом, и воображение мое ставило возле них творенье невинное и молодое, их украшающее, одушевляющее их надеждою. Я скитался, погруженный в это мечтание, все без решения твердого, не говоря себе, что должно разорвать связь с Элеонорою, имея о

действительности одно понятие глухое и смутное, и в положении человека, удрученного горестью, которого сон утешил видением, и которой предчувствует, что сновидение пропадает. Я усмотрел вдруг замок Элеоноры, к которому приближался нечувствительно: я остановился, поворотил на другую дорогу: счастлив был, что отсрочу минуту, в которую услышу голос её.

День угасал; небо было чисто; поля пустели; работы людские кончились: люди предавали природу себе самой. Думы мои означались постепенно оттенками более строгими и величавыми. Мраки ночи, густевшие беспрестанно, обширное безмолвие, меня окружавшее и перерываемое одними отзвуками, редкими и отдаленными, заменили мое волнение чувством, более спокойным и благоговейным. Я пробегал глазами по сероватому небосклону, коего пределы были мне уже незримы: тем самым раскрывал он во мне, некоторым образом, ощущение неизмеримости. Я давно не испытывал ничего подобного: беспрерывно поглощаемый размышлениями, всегда личными, всегда обращающий взоры свои на свое положение, я сделался чуждым всякому общему понятию: я занят был только Элеонорою и собою; Элеонорою, к которой хранил одно сострадание пополам с усталостью; собою, которого уже вовсе не уважал: я себя сжал, так сказать, в новом роде эгоизма – в эгоизме без бодрости, недовольном и уничиженном: я любовался тем, что возрождаюсь к мыслям другого разряда, что отыскиваю способность забывать себя са-

мого, предаваясь думам бескорыстным; казалось, душа моя восстает от падения долгого и постыдного.

Почти всю ночь провел я таким образом. Я шел, куда глаза глядят: я обежал поля, леса, селения, где все было без движения. Изредка усматривал я в отдаленном жилище бледный свет, пробивающий темноту. Тут, говорил я себе, тут, быть может, какой-нибудь несчастный раздирается скорбью или борется со смертью – со смертью, таинством неизъяснимым, в котором опытность вседневная как будто еще не убедила людей, пределом неизбежным, который не утешает, не усмиряет нас; предметом беспечности необычайной и ужаса переходящего: и я так же, продолжал я, предаюсь сей ветренности безумной! я возмущаюсь против жизни как будто этой жизни не иметь конца! я рассеваю несчастья кругом себя, чтобы на свою долю завоевать себе несколько годов ничтожных, которых время не замедлит у меня похитить! Ах, откажемся от сих тщетных усилий: насладимся, глядя, как сие время убегает, как одни сходят дни на другие: останемся неподвижными, равнодушными зрителями бытия, уже до половины истекшего; пускай овладеют им, пускай раздирают его: течения его не продлят: стоит ли его оспаривать?

Мысль о смерти имела надо мною всегда большое владычество. В моих живейших чувствах она всегда смирила меня: она произвела на душу мою свое обычайное действие: расположение мое к Элеоноре смягчилось; раздраженное вол-

нение исчезло: из впечатлений сей ночи безумия оставалось во мне одно чувство, сладостное и почти спокойное; может быть, усталость физическая, ощущаемая мною, содействовала этому спокойствию.

Начинало рассветать. Я уже различал предметы. Я узнал, что я был довольно далеко от жилища Элеоноры. Я представлял себе её беспокойство и спешил возвратиться к ней, по возможности сил моих утомленных: дорогою встретил я человека верхом, посланного ею отыскивать меня. Он сказал мне, что она уже двенадцать часов в живейшем страхе, что, съездив в Варшаву, объездив все окрестности, возвратилась она домой в тоске неизъяснимой, и что жители её разосланы по всем сторонам искать меня. Этот рассказ исполнил меня тотчас нетерпением довольно тяжким. Мне стало досадно, видя себя подверженного Элеонорою надзору докучному. Напрасно твердил я себе, что любовь её одна виною тому; но не самая ли эта любовь была виною сего моего несчастья? Однако же я успел одолеть сие чувство, в котором упрекал себя. Я знал, что она страшится и страдает. Я сел на лошадь. Я проскакал поспешно расстояние, нас разделявшее. Она приняла меня с восторгами радости. Я был умилен её нежностью. Разговор наш не был продолжителен, потому что она помнила, что мне нужно отдохновение: и я оставил ее, по крайней мере на этот раз ничего не сказав прискорбного для сердца её.

Глава осьмая

На другой день встал я, преследуемый мыслями, волновавшими меня накануне. Волнение мое усиливалось в следующие дни: Элеонора тщетно хотела проникнуть причину одного. На её стремительные вопросы я отвечал принужденно односложными словами. Я, так сказать, хотел закалить себя против её увещеваний, зная, что за моею откровенностью последует скорбь её, и что её скорбь наложит на меня новое притворство.

Беспокойная и удивленная, она прибегла к одной своей приятельнице, чтобы разведать тайну, в которой она меня обвиняла: алкая сама себя обманывать, искала она события там, где было одно чувство. Сия приятельница говорила мне о моем своенравии, об усилиях, с коими отвращал я всякую мысль о продолжительной связи, о моей непостижимой жажде разрыва и одиночества. Долго слушал я ее в молчании; до той поры я еще никому не сказывал, что уже не люблю Элеонори: язык мой отказывался от сего признания, которое казалось мне предательством. Я хотел однакоже оправдать себя; я рассказал повесть свою с осторожностью, говорил с большими похвалами об Элеоноре, признавался в неосновательности поведения моего, приписывая ее затруднительности нашего положения, и не позволял себе промолвить слово, которое ясно показало бы, что истинная затруд-

нительность с моей стороны заключается в отсутствии любви. Женщина, слушавшая меня, была растрогана моим рассказом: она видела великодушие в том, что я называл суровостью; те же объяснения, которые приводили в исступление страстную Элеонору, вливали убеждение в ум беспристрастной её приятельницы. Так легко быть справедливым, когда бываешь бескорыстным. Кто бы вы ни были, не поручайте никогда другому выгод вашего сердца! Сердце одно может быть ходатаем в своей тяжбе. Оно одно измеряет язвы свои; всякий посредник становится судьей; он следует, он мирволит, он понимает равнодушие, он допускает возможность его, признает неизбежность его, и равнодушие находит себя чрез это, к чрезвычайному удивлению своему, законным в собственных глазах своих. Упреки Элеоноры убедили меня, что я был виновев: я узнал от той, которая думала быть защитницею её, что я только несчастлив. Я завлечен был до полного признания в чувствах моих; я согласился, что питаю к Элеоноре преданность, сочувствие, сострадание: но прибавил, что любовь не была нимало участницею в обязанностях, которые я возлагал на себя. Сия истина, доселе заключенная в моем сердце и поведанная Элеоноре, единственно среди смущения и гнева, облеклась в собственных глазах моих большою действительностью и силою именно потому, что другой стал её хранителем. Шаг большой, шаг безвозвратный проложен, когда мы раскрываем вдруг перед взорами третьего изгибы сокровенные сердечной связи; свет, прони-

кающий в сие святилище, свидетельствует и довершает разрушения, которые тьма окружала своими мраками: так тела, заключенные в гробах, сохраняют часто свой первобытный образ, пока воздух внешний не коснется их и не обратит в прах.

Приятельница Элеоноры меня оставила: не знаю какой отчет отдала она ей о нашем разговоре; но, подходя к гостиной, услышал я голос Элеоноры, говорящий с большою живостью. Увидя меня, она замолчала. Вскоре развертывала она под различными изменениями понятия общие, которые были ничто иное, как нападения частные. Ничего нет страннее, говорила она, усердия некоторых приятней: есть люди, которые торопятся быть ходатаями вашими, чтобы удобнее отказать от вашей пользы: они называют это привязанностью; я предпочла бы ненависть. Я легко понял, что приятельница Элеоноры была защитницею моею против неё, и раздражила ее, не находя меня довольно виновным. Я таким образом был в некотором сочувствии с другим против Элеоноры: это между сердцами нашими была новая преграда.

Спустя несколько дней, Элеонора была еще неумереннее; она не была способна ни к какому владычеству над собою: когда полагала, что имеет причину к жалобе, она прямо приступала к объяснению без бережливости и без расчета, и предпочитала опасение разрыва принуждению притворства. Обе приятельницы расстались в ссоре непримиримой.

Зачем вмешивать посторонних в наши сердечные пере-

молвки? говорил я Элеоноре, Нужно ли нам третьего, чтобы понимать друг друга? А если уже не понимаем, то третий поможет ли нам в этом? – Вы сказали справедливо, отвечала она мне: но вина от вас; бывало, я не прибегала ни к кому, чтобы достигнуть до сердца вашего.

Неожиданно Элеонора объявила намерение переменить образ жизни своей. Я разгадал по речам её, что неудовольствие, меня пожирившее, она приписывала уединению, в котором живем. Прежде, чем покорить себя истолкованию истинному, она истощала все истолкования ложные. Мы проводили с глаза на глаз однообразные вечера между молчанием и досадами: источник долгих бесед уже иссякнул.

Элеонора решилась привлечь к себе дворянские семейства, живущие в соседстве или в Варшаве. Я легко предусмотрел препятствия и опасности попыток её. Родственники, оспаривавшие наследство у ней, разгласили её прежние заблуждения и рассеяли тысячу злоречивых поклепов на нее. Я трепетал унижений, которым она подвергается, и старался отвлечь ее от этого предположения. Мои представления остались безуспешными; я оскорбил гордость её моими опасениями, хотя и выражал их бережно. Она подумала, что я тягочусь связью нашею, потому что жизнь её была двусмысленна: тем более поспешила она завладеть снова почетною чредою в свете. Усилия её достигли некоторого успеха. Благосостояние, которым она пользовалась; красота её, еще мало измененная временем; молва о самых приклю-

чениях её – все в ней возбуждало любопытство. Вскоре увидела она себя окруженною многолюдным обществом: но она была преследуема сокровенным чувством замешательства и беспокойствия. Я досадовал на свое положение: она воображала, что я досаую на положение её; она выбивалась из него. Пылкое желание её не давало ей времени на обдуманность; её ложные отношения кидали неровность на поведение её и опрометчивость на поступки. Ум её был верен, но мало обширен; верность ума её была искажена вспыльчивостью нрава; недалновидность препятствовала ей усмотреть черту надежнейшую и схватить тонкия оттенки. В первый раз назначила она себе цель: и потому, что стремилась в этой цели, она ее миновала. Сколько докуч вытерпела она, ее открываясь мне! сколько раз краснел я за нее, не имея силы сознаться ей в том! Таковы между людьми господство осторожности в приличиях и соблюдение мерности, что Элеонора бывала более уважена друзьями графа П... в звании любовницы его, нежели соседями своими, в звании наследницы больших поместий, посреди своих вассалов. Попеременно высокомерная и умоляющая, то приветливая, то подозрительно взыскательная, она в поступках и речах своих таила, не знаю, какую-то разрушительную опрометчивость, низвергающую уважение, которое обретается единым спокойствием.

Исчисляя, таким образом, погрешности Элеоноры, я себя

обвиняю, себе приговор подписываю. Одно слово мое могло бы ее усмирить; почему не вымолвил я этого слова?

Мы однако же между собою жили миролюбивее. Развлечение было нам отдыхом от наших мыслей обычных. Мы бывали одни только по временам и, храня друг к другу доверенность беспредельную во всем, за исключением ближайших чувств наших, мы замещали сии чувства наблюдениями и действительностью, и беседы наши были снова для нас не без прелести. Но вскоре сей новый род жизни обратился для меня в источник нового беспокойства. Затерянный в толпе, окружавшей Элеонору, я заметил, что был предметом удивления и норицания. Эпоха решению тяжбы её приближалась: противники её утверждали, что она охолодила в себе сердце родительское проступками бесчисленными; присутствие мое было засвидетельствованием уверений их. Приятели её винили меня за вред, который ей причиняю. Они извиняли страсть её ко мне; но меня уличали в бесчувственности и в небрежении доброго имени её: я, говорили они, употребляю во зло чувство, которое мне должно было бы умерить. Я знал один, что, покидая ее, увлеку по следам своим, и что она из желания не разлучиться со мною пожертвует всеми выгодами фортуны и всеми расчетами осторожности. Я не мог избрать публику поверенною тайны сей; таким образом я в доме Элеоноры казался не иначе, как посторонним, вредящим даже успеху дела, от которого зависела судьба её; и по странному испровержению истины, в то время, когда я был жерт-

вою воли её непоколебимой, она впутала жалость, и выдаваема была за жертву господства моего.

Новое обстоятельство припуталось в этом положении страдательному.

Необыкновенный оборот оказался неожиданно в поведении и обращении Элеоноры; до той поры, казалось, она занята была мною одним: вдруг увидел я, что она не чуждается и домогается поклонений мужчин, ее окружавших. Сия женщина, столь осторожная, столь холодная, столь опасливая, вяжется, внезапно переменялась в нраве. Она ободряла чувства и даже надежды молодежи, из коей иные, прельщаясь её красотою, а другие, не смотря на минувшие заблуждения, искали действительно руки её; она не отказывала им в долгих свиданиях с глаза на глаз; она имела с ними это обращение сомнительное, но привлекательное, которое отражает слабо, чтобы удерживать, потому что оно обличает более нерешительность, нежели равнодушие, более отсрочку, нежели отказ. Я после узнал от неё самой, и события меня в том уверили, что она поступала таким образом по расчету ложному и бедственному. Она, надеясь оживить мою любовь, возбуждала мою ревность: но она тревожила пепел, который ничем не мог уже быть согрет. Может быть, с этим расчетом и без ведома её самой сливалось некоторое тщеславие женское: она была уязвлена моею холодностью; она хотела доказать себе самой, что может еще нравиться. Может быть, в одиночестве, в котором оставил я сердце её, на-

ходила она некоторую отраду, внимая выражениям любви, которых я давно уже не произносил.

Как бы то ни было, но я несколько времени ошибался в побуждениях её. Я провидел зарю моей свободы будущей; я поздравил себя с тем. Страшась прервать каким-нибудь движением необдуманном сей важный перелом, от которого ожидал я своего избавления, я стал кротче и казался довольнее. Элеонора почла мою кротость за нежность; мою надежду увидеть её счастливою без меня за желание утвердить её счастье. Она радовалась своей уловке. Иногда однако же пугалась она, не замечая во мне никакого беспокойства: она попрекала мне, что не ставлю никаких преград сим связям, которые по-видимому могли её от меня похитить. Я отражал её обвинения шутками, но не всегда удавалось мне успокоить её. Характер её сквозил из под притворства, которое она на себя налагала. Сшибки загорались на другом поле, но были не менее бурны. Элеонора приписывала мне свои проступки; она намекала мне, что одно слово мое обратило бы её ко мне совершенно; потом оскорбленная моим молчанием, она видалась снова в кокетство с некоторым исступлением.

Особливо же здесь, я это чувствую, обвинят меня в малодушие. Я хотел быть свободным, и мог быть свободным при всеобщем одобрении; я в тому и был обязан, может быть; поведение Элеоноры подавало мне право, и казалось, вынуждало меня на то, Но не знал ли я, что сие поведение было плодом моим? Не знал ли я, что Элеонора в глубине сердца

своего не переставала любить меня? Мог ли я наказывать ее за неосторожность, в которую вовлекал ее? Мог ли я холодным лицемером искать предлога в сих неосторожностях для того, чтобы покинуть ее безжалостно?

Решительно не хочу извинять себя; осуждаю себя строже, нежели, может быть, другой на моем месте осудил бы себя: но могу по крайней мере дать за себя торжественное свидетельство, что я никогда не действовал по расчету, а был всегда управляем чувствами истинными и естественными. Как могло случиться, что с такими чувствами был я так долго на несчастье себе и другим?

Общество однако же наблюдало меня с удивлением. Мое пребывание у Элеоноры могло быть объяснено одною моею чрезмерною привязанностью к ней; а равнодушие, оказываемое мною при виде новых уз, которые она вязалась всегда готовою принять, отрицало эту привязанность. Приписывали мою непостижимую терпимость ветренности правил, беспечности в отношении в нравственности, которые (так говорили) изобличают человека, глубоко проникнутого эгоизмом и развращенного светом. Сии заключения, тем более способные к впечатлениям, чем более принаравливалась они к душам их выводящим, были охотно одобрены и разглашены. Отзыв их достиг наконец и до меня; я негодовал при сем неожиданном открытии: в возмездие моих продолжительных пожертвований я был неоценен, был оклеветан: я для женщины забыл все выгоды, отклонил все радости жизни —

и меня же осуждали.

Я объяснился горячо с Элеонорою: одно слово рассеяло сей рой обожателей, созданный ею только с тем, чтобы пугать меня утратою её. Она ограничила свое общество несколькими женщинами и малым числом мужчин пожилых. Все облеклось вокруг нас правильною наружностью: но мы от этого были только несчастнее; Элеонора полагала, что она присвоила себе новые права; я почувствовал себя отягченным новыми цепями.

Не умею описать, сколько горечи и сколько исступлений было последствием сношений наших, таким образом омноженных. Наша жизнь была гроза непрерывная. Искренность утратила все свои прелести, и любовь всю свою сладость. У нас уже не было и тех преходчивых промежутков, которые на несколько мгновений как будто исцеляют язвы неисцелимые. Истина пробилась со всех сторон, и я для поведания её избирал выражения самые суровые и самые безжалостные. Я только тогда смирился, когда видал Элеонору в слезах; и самые слезы её была не что иное, как лава горящая, которая, падая капля за каплею на мое сердце, исторгала из меня вопли, но не могла исторгнуть отрицания. В это самое время видел я не один раз, как вставала она бледная, и вдохновенная пророчеством: «Адольф, восклицала она, вы не ведаете зла, которое мне наносите; вы о нем некогда узнаете, узнаете от меня, когда низринете меня в могилу». Несчастный, когда я слышал эти слова, почто я сам

не бросился в могилу до неё!

Глава девятая

Я не возвращался к барону Т... с последнего посещения моего. Однажды утром получил я от него следующую записку:

«Советы, мною данные вам, не должны были надолго так разлучить нас. На что бы вы не решились в обстоятельствах, до нас касающихся, вы все не менее того сын друга моего; не менее того приятно будет мне насладиться вашим обществом и ввести вас в круг, в котором, смею вас уверить, увидите себя с удовольствием. Позвольте мне прибавить, что чем более род жизни вашей, который порицать я не намерен, имеет в себе что-то странное, тем более предстоит вам обязанность, показываясь в свет, рассеять преубеждения, без сомнения, неосновательные».

Я был признателен за благосклонность, оказываемую мне человеком в летах. Я поехал к нему: не было речи об Элеоноре. Барон оставил меня обедать у себя. В этот день было у него только несколько мушин, довольно умных и доведено любезных. Мне сначала было не ловко, но я принудил себя, оживился, стад разговорчив: я развил, сколько мог, ума и сведений. Я заметил, что мне удавалось задобрить к себе внимание. Я находил в этом роде успехов наслаждение самолюбия, уже давно мне неведомое. От сего наслаждения общество барона Т... стало для меня приятнее.

Мои посещения повторялись. Он поручил мне некоторые занятия по своему посольству, которые мог вверить без неудобства. Элеонора сперва была поражена сим переворотом в жизни моей, но я сказан ей о дружбе барона к отцу моему и об удовольствии, с которым утешаю последнего в отсутствии моем, показывая себя занятым полезно. Бедная Элеонора (пишу о том в сие мгновение с чувством угрызения) ощутила некоторую радость, думая, что я кажусь спокойнее, и покорилась, сетуя мало, необходимости проводить часто большую часть дня в разлуке со мною.

Барон, с своей стороны, когда утвердилась между нами некоторая доверенность, возобновил речь об Элеоноре, Решительным намерением моим было всегда говорить о ней доброе, но, сам не замечая того, я отзывался о ней менее уважительно и как-то вольнее: то указывал я заключениями общими, что признаю за необходимое развязаться с нею, то отделивался я с помощью шутки, и говорил, смеясь, о женщинах и о трудности разрывать с ними связь. Сии речи забавляли старого министра, душою изношенного, который смутно помнил, что в молодости своей и он бывал мучим любовными связями. Таким образом, именно тем, что я скрывал в себе потаенное чувство, более или менее я обманывал всех: я обманывал Элеонору, ибо знал, что барон Т... хотел отклонить меня от нее, и о том я ей не сказывал; я обманывал г-на ***, ибо подавал ему надежду, что я готов сокрушить свои узы. Это лукавое двуличие было совершенно противно

моему характеру: но человек развращается, коль скоро хранит в сердце своем единую мысль, в которой он постоянно вынужден притворствовать.

До сей поры у барона Т... познакомился я с одними мужчинами, составляющими его короткое общество. Однажды предложил он мне остаться у него на большом пиру, которым он праздновал день рождения Государя своего. Вы тут увидите, сказал он мне, первейших красавиц Польши. Правда, не увидите вы той, которую любите; жалею о том; но иных женщин видишь только у них дома. Я был тяжело поражен этим замечанием; я промолчал, но упрекал себя внутренно, что не защищаю Элеоноры, которая так живо защитила бы меня, если бы кто задел меня в её присутствии.

Собрание было многолюдное. Меня рассматривали со вниманием. Я слышал, как вокруг меня твердили тихо имена отца моего, Элеоноры, графа П***; умолкали, когда я приближался; когда я удалялся, снова заговаривали. Мне было достоверно, что передавали друг другу повесть мою, и каждый, без сомнения, рассказывал ее по своему. Мое положение было невыносимо: по лбу моему струился холодный пот; я краснел и бледнел попеременно.

Барон заметил мое замешательство. Он подошел ко мне, удвоил знаки своей внимательности, приветливости; искал все случаи отзываться обо мне с похвалою, и господство его влияния принудило скоро и других оказывать мне тоже уважение.

Когда все разъехались, «я желал бы, сказал мне барон Т..., поговорить с вами еще раз откровенно. Зачем хотите вы оставаться в положении, от которого страдаете? Кому оказываете вы добро? Думаете ли вы, что не знают того, что бывает между вами и Элеонорою? Всей публике известны ваши взаимные размолвки и неудовольствия. Вы вредите себе слабостью своею; не менее вредите себе и своею суровостью, ибо, к дополнению неосновательности, вы не составляете счастье женщины, от которой вы так несчастливы».

Я еще был отягчен горестью, которую испытал. Барон показал мне многие письма отца моего. Они свидетельствовали о печали его. Она была гораздо живее, нежели я воображал. Это меня поколебало. Мысль, что я долгим отсутствием продолжаю беспокойствие Элеоноры, придавала мне еще более нерешительности. Наконец, как будто все против неё соединилось. В то самое время, как я колебался, она сама своею опрометчивостью решила мое недоумение. Меня целый день не было дома. Барон удержал меня после собрания: ночь наступила. Мне подали письмо от Элеоноры в присутствии барона Т... Я видел в глазах его некоторую жалость к моему порабощению. Письмо Элеоноры было исполнено горечи. Как, говорил я себе, я не могу провести день один на свободе! Я не могу дышать час в покое! Она гонится на мною всюду, как за невольником, которого должно пригнать к ногам её. Я бых тем более озлоблен, что чувствовал себя слабым. – Так, воскликнул я, приемлю обязанность разорвать

связь с Элеонорою; буду иметь смелость сам объявить ей о том. Вы можете заранее уведомить отца о моем решении.

Сказав сии слова, я бросился от барона; я задыхался от слов, которые выговорил – и едва верил обещанию, данному мною.

Элеонора ждала меня с нетерпением. По странной случайности, ей говорили в моем отсутствии в первый раз о стараниях барона Т... оторвать меня от нее. Ей пересказали мои речи, шутки. Подозрения её были пробуждены, и она собрала в уме своем многие обстоятельства, их подтверждающие. Скоропостижная связь моя с человеком, которого я прежде никогда не видал; дружба, существовавшая между этим человеком и отцем моим, навалились ей доказательствами бесспорными. Ее волнение так возросло в несколько часов, что я застал ее совершенно убежденною в том, что называла она моим предательством.

Я сошелся с нею в твердом намерении ей все сказать. Обвиняемый ею (кто этому поверит?), я занялся только старанием от всего отделаться. Я отрицал даже, да, отрицал в тот день то, что я твердо был решен объявить ей завтра.

Уже было поздно; я оставил ее. Я поспешил лечь, чтобы кончить этот долгий день, и когда я был уверен, что он кончен, я почувствовал себя на ту пору облегченным от бремени ужасного.

Я на другой день встал около половины дня; как будто удаляя начало нашего свидания, я удалил роковое мгновение.

Элеонора успокоилась ночью и своими собственными размышлениями, и вчерашними моими речами. Она говорила мне о делах своих с доверчивостью, показывающею слишком явно, что она полагает наше обоюдное существование неразрывно соединенным. Где найти слова, которые оттолкнули бы ее в одиночество?

Время текло с ужасающею быстротою. Каждая минута усиливала необходимость объяснения. Из трех дней, положенных мною решительным сроком, второй был уже на исходе. Г. Т... ожидал меня, но крайней мере, через день. Письмо его к отцу моему было отправлено, и я готовился изменить моему обещанию, не совершив для исполнения его ни малейшего покушения. Я выходил, возвращался, брал Элеонору за руку, начинал фразу и точас прерывал ее, глядел на течение солнца, спускающагося по небосклону. Ночь вторично наставала. Я отложил снова. Оставался мне день один; довольно было часа.

День этот минул, как предыдущий. Я писал к барону Т... и просил у него отсрочки на малое время – и, как свойственно характерам слабым, я приплел в письме моем тысячу рассуждений, оправдывающих мою просьбу. Я, доказывал, что она ни в чем не препятствует решению, в котором я утвердился, и что с того самого числа можно почестъ узы мои с Элеонорою навсегда разорванными.

Глава десятая

Следующие дни провел я спокойнее. Необходимость действовать откинул я в неопределенность: она уже не преследовала меня, как привидение. Я полагал, что у меня довольно времени приготовить Элеонору. Я хотел быть ласковее, нежнее с нею, чтобы сохранить, но крайней мере, воспоминание дружбы. Мое смятение было иногда совершенно различно от испытанного мною до того времени. Я прежде молил небо, чтобы оно воздвигло вдруг между Элеонорою и мною преграду, которой не мог бы я преступить. Сия преграда была воздвигнута. Я вперял взоры свои на Элеонору, как на существо, которое скоро утрачу. Взыскательность, казавшаяся мне столько раз нестерпимою, уже не пугала меня; я чувствовал себя разрешенным от нее заранее. Я был свободнее, уступая ей еще – и я уже не ощущал сего возмущения внутреннего, от которого некогда порывался все растерзать. Во мне уже не было нетерпения: было напротив желание тайное отдалить бедственную минуту.

Элеонора заметила сие расположение к ласковости и чувствительности: она сама стала менее раздражительна. Я искал разговоров, которых прежде убегал; я наслаждался выражениями любви её, недавно докучными, драгоценными ныне, потому что каждый раз могли они быть последними.

Одним вечером расстались мы после беседы, которая бы-

ла сладостнее обыкновенного. Тайна, которую заключил я в груди моей, наводила на меня грусть, но грусть моя не имела ничего порывного. Неведение в эпохе разрыва, желанного мною содействовало мне к отвращению мысли о нем. Ночью услышал я в замке шум необычайный; шум этот утих, и я не придавал ему никакой важности. Утром, однако же, я вспомнил о нем, хотел разведать причину и пошел к покою Элеоноры. Какое было мое удивление, когда узнал я, что уже двенадцать часов была она в сильном жару, что врач, призванный домашними, находил жизнь её в опасности, и что она строго запретила известить меня о том, или допустить меня к ней.

Я хотел войти силою. Доктор вышел сам во мне и сказал о необходимости не наносить ни малейшего потрясения. Он приписывал запрещение её, которого причины не знал, желанию не напугать меня. Я расспрашивал людей Элеоноры с тоскою о том, что могло повергнуть ее скоропостижно в столь опасное положение. Накануне, расставшись со мною, полиняла она из Варшавы письмо, привезенное верховым посланным. Распечатав и пробежав его, упала она в обморок; пришедши в себя, бросилась она на постель, не произнося ни слова. Одна из женщин, при ней служащих, устрешенная волнением, замеченным в ней, осталась в её комнате без её ведома. Около половины ночи эта женщина увидела Элеонору объятую дрожью, от которой шаталась кровать, где она лежала; она хотела призвать меня. Элеонора тому противи-

лась с некоторым ужасом, столь поразительным, что не посмели послушаться её. Тогда послали за доктором. Элеонора не согласилась, не соглашалась и еще отвечать ему. Она провела ночь, выговаривая слова перерывные, которых не понимали; часто прикладывала она платок свой к губам, как будто с тем, чтобы не давать себе говорить.

Пока мне рассказывали все эти подробности, другая женщина, остававшаяся при Элеоноре, прибежала испуганная: Элеонора, казалось, лишилась чувств и движения. Она не различала ничего кругом себя. Иногда испускала вопль, твердило мое имя; потом, утраченная, подавала знак рукою, как будто указывая, чтобы удалили от неё предмет ей ненавистный.

Я, вошел в её горницу. Я увидел у подножия кровати её два письма: одно из них было мое в барону Т..., другое от него самого к Элеоноре. Тогда постиг я слишком явно слова сей ужасной загадки. Все усилия мои для исходатайствования времени, которое хотел посвятить на последнее прощание, обратились, таким образом, против несчастливцы, которую желал я побережь. Элеонора прочла начертанные рукою моею обещания покинуть ее, обещания, подсказанные мне единым желанием оставаться долее при ней – и живость сего самого желания побудила меня повторить его, развить тысячью образами. Взгляд равнодушный барона Т... легко разобрал в сих уверениях, повторяемых на каждой строке, нерешительность, которую утаивал я, и лукавство моего соб-

ственного недоумения. Но жестокий расчел слишком верно, что Элеонора увидит в них приговор неотрешимый. Я приблизился к ней: она взглянула на меня, не узнавая. Я заговорил с ней: она вздрогнула. Что слышу? вскричала она: это голос, который был для меня так пагубен. Доктор заметил, что присутствие мое умножает жар и расстройство её, и умолял меня удалиться. Как изобразить то, что я испытал в течение трех часов продолжительных? Доктор, наконец, вышел; Элеонора была в глубоком забытии. Он не отчаивался в спасении её, если после пробуждения жар её умерится.

Элеонора спала долго. Узнав о пробуждении, я написал ей, испрашивая позволения придти в ней. Она велела впустить меня. Я начал говорить; она прервала речи мои. – Да не услышу от вас, сказала она, ни одного слова жестокого. Я уже ничего не требую, ничему не противлюсь, но не хочу, чтобы сей голос, который так любила, который отзывался в глубине сердца моего, проникал его ныне для терзания, Адольф, Адольф, я была вспыльчива, неумеренна; я могла вас оскорбить, но вы не знаете, что я выстрадала. Дай Бог вам никогда не узнать того.

Волнение её становилось безмерным. Она приложила руку мою ко лбу своему: он горел; напряжение ужасное искажало черты её. – Ради самого Бога, вскричал я, милая Элеонора, услышьте меня! так, я виновен: письмо сие... Она затрепетала и хотела удалиться; я удержал ее. – Слабый, мучимый, продолжал я, я мог уступить на мгновение увещани-

ям жестоким, но не имеете ли сами тысячи доказательств, что не могу желать того, что разлучит нас. Я был недоволен, несчастлив, несправедлив; может быть, слишком стремительными борениями с воображением непокорным дали вы силу намерениям преходящим, которыми гнушаюсь ныне; но можете ли вы сомневаться в моей привязанности глубокой? Наши души не скованы ли одна с другою тысячею уз, которых ничто разорвать не может? Все минувшее нам не обоим ли заодно? Можем ли кинуть взгляд на три года, теперь истекшие, не припоминая себе впечатлений, которые мы разделяли, удовольствий, которые мы разделяли, удовольствий, которые вкушали; печалей, которые перенесли вместе. Элеонора, начнем с нынешнего дня новую эпоху, воротим часы блаженства и любви. Она поглядела на меня несколько времени с видом сомнения. Ваш отец, сказала она мне наконец, ваши обязанности, ваше семейство, чего ожидают от вас?... Без сомнения, отвечал я, со временем, когда-нибудь, может быть... Она заметила, что я запинаясь. — Боже мой! вскричала она, к чему возвратил он мне надежду, чтобы тут же и похитить ее! Адольф, благодарю вас за усилия ваши: они были для меня благодетельны, тем благодетельнее, что вам не будут стоить, надеюсь, никакой жертвы, но умоляю вас, не станем говорить более о будущем. Не вините себя ни в чем, чтобы ни было. Вы были добры для меня. Я хотела невозможного. Любовь была всею жизнью моею: она не могла быть вашею. Позаботьтесь обо мне еще

несколько дней. Слезы потекли обильно из глаз её; дыхание её было менее стеснено. Она преклонила голову свою на плечо мое. – Вот здесь, сказала она, всегда я умереть желала. Я прижал ее к сердцу моему, отрекался снова от моих намерений, отрицал свое исступление жестокое. – Нет, возразила она, вы должны быть свободным и довольным. Могу ли быть им, если вы будете несчастны? Я не долго буду несчастлива; вам не долго будет жалеть обо мне. Я уклонил от себя страх, который хотел почитать вымешленным. – Нет, нет, милый Адольф, когда мы долго призывали смерть, небо посылает нам, наконец, какое-то предчувствие безошибочное, уверяющее нас, что молитва наша услышана. Я клялся ей никогда не покидать ее. – Я всегда надеялась на то, теперь я в том уверена.

Тогда был один из тех зимних дней, в которые солнце, вяжетя, озаряет печально сероватые поля, как будто глядя жалостно на землю, уже им несогреваемую. Элеонора предложила мне пройтись с нею. – Холодно, сказал я ей. – Нет нужды, мне хотелось бы пройтись с вами. Она взяла меня за руку. Мы шли долго, не говоря ни слова; она подвигалась с трудом и озиралась почти вся на меня. – Остановимся на минуту. – Нет, отвечала она, мне приятно чувствовать, что вы меня еще поддерживаете. Мы снова углубились в молчание. Небо было чисто, но деревья стояли без листьев; ни малейшее дуновение не колебало воздуха; никакая птица не рассекала его: все было неподвижно, и слышался только шум тра-

вы замерзнувшей, которая дробилась под шагами нашими. – Как все тихо! сказала мне Элеонора. Как природа предается покорно! Сердце также не должно ли учиться покорности? Она села на камень; вдруг упала на колена и, склонив голову, уперла ее на обе руки свои. Я услышал несколько слов, произнесенных тихим голосом. Я догадался, что она молится. – Привстав, наконец, – возвратимся домой, связала она: холод проникнул меня. Боюсь, чтобы не сделалось мне дурно. Не говорите мне ничего: я не в состоянии слышать вас.

От сего дня Элеонора стала слабеть и изнемогать. Я собрал отовсюду докторов. Одни объявили мне, что болезнь неизлечима, другие ласкали меня надеждами несбыточными, но природа мрачная и безмолвная довершала рукою невидимою свой труд немилосердный. Мгновениями, Элеонора, казалось, оживала. Иногда можно было подумать, что железная рука, на ней тяготевшая, удалилась. Она приподнимала голову свою томную; щеки её отцветивались красками, более живыми; глаза её становились светлее; но вдруг, как будто игрою жестокою неведомой власти, сей благоприятный обман пропал, и искусство не могло угадать причину тому. Я видел ее, таким образом, подвигающуюся постепенно к разрушению. Я видел, как означались на сем лице, столь благородном и выразительном, приметы – предшественницы кончины. Я видел зрелище унижительное и прискорбное – как сей характер, силы исполненный и гордый, принимал от страдания физического тысячу впечатлений смутных и по-

строены, как будто в сии роковые мгновения душа, смятая телом, превращается всячески, чтобы поддаваться с меньшим трудом упадку органов.

Одно чувство не изменялось никогда в сердце Элеоноры – чувство нежности ко мне. Слабость её позволяла редко ей разговаривать со мною; но она вперяла на меня глаза свои в молчании, и мне казалось тогда, что взгляды её просили от меня жизни, которой уже я не в силах был ей дать. Я боялся потрясений, слишком для нее тяжких; я вымышлял тысячу предлогов, чтобы выходить из комнаты; я обегал наудачу все места, где бывал вместе с нею; орошал слезами своими камня, подошвы деревьев, все предметы, напоминавшие мне о ней.

То не были сетования любви: чувство было мрачнее и печальнее; любовь так соединяется с любимым предметом, что и в самом отчаяния её есть некоторая прелесть. Любовь борется с действительностью, с судьбою: пыл её желания, ослепляет ее в измерения сил своих и воспламеняет ее посреди самой скорби. Моя скорбь была томная и одинокая. Я не надеялся умереть с Элеонорою; я готовился жить без неё в сей пустыне света, которую желал столько раз пройти независимый. Я сокрушил существо, меня любившее; я сокрушил сие сердце, бывшее товарищем моему – сердце, которое упорствовало в преданности своей ко мне, в нежности неутомимой. Уже одиночество меня настигало. Элеонора дышала еще, но я уже не мог поверять ей мысли мои: я был уже один

на земле; я не жил уже в сей атмосфере любви, которую она разливала вокруг меня. Воздух, которым я дышал, казался мне суровее, лица людей, встречаемых мною, казались мне равнодушнее: вся природа как будто говорила мне, что я навсегда перестаю быть любимым. Опасность Элеоноры скоропостижно возрасла: признаки неотвергаемые удостоуверили в близкой её кончине. Священник объявил ей о том. Она просила меня принести ларец, хранящий много бумаг. Несколько из них велела она сжечь при себе; но, казалось, искала она одной, которой не находила, и беспокойствие её было безмерно. Я умолял ее оставить эти розыски, для неё утомительные, видя, что она уже два раза падала в обморок. — Соглашаюсь, отвечала она, но, милый Адольф, не откажите мне в просьбе. Вы найдете между бумагами моими, не знаю где, письмо на ваше имя; сожгите его не прочитав; заклинаю вас в том именем любви нашей, именем сих последних минут, услажденных вами! Я обещал ей; она успокоилась. — Оставьте меня теперь предаться обязанностям моим духовным: мне во многих проступках очиститься должно: любовь моя к вам была, может быть, проступок. Я однако же не подумала бы того, если бы любовью моею были вы счастливы. Я вышел. Я возвратился к ней только со всеми её домашними, чтобы присутствовать при последних и торжественных молитвах. На коленях, в углу комнаты её, я то низвергался в мои мысли, то созерцал по любопытству невольному всех сих людей собранных, ужас одних, развлечение прочих и сие

странное влияние привычки, которая вводит равнодушие во все обряды предписанные и заставляет смотреть на действия самые священные и страшные, как на исполнения условные в совершаемые только для порядка. Я слышал, как эти люди твердили машинально отходные слова, как будто не придется и им быть некогда действующими лицами в подобном явлении, как будто и им не придется никогда умирать. Я, однако же, был далек от пренебрежения сими обрядами: есть ли из них хотя один, которого тщету осмелится признать человек, в неведении своем? Они придавали спокойствие Элеоноре; они помогали ей переступить сей шаг ужасный, к которому мы подвигаемся все, не имея возможности предвидеть, что будем тогда ощущать. Удивляюсь не тому, что человеку нужна одна религия. Меня удивляет то: как он почитает себя столько сильным, столько защищенным от несчастий, что дерзает отвергнуть хотя единую! Он должен бы, мне кажется, в бессилии своем призвать все. В ночи глубокой, нас окружающей, есть ли одно мерцание, которое могли бы мы отвергнуть? Посреди потока, нас увлекающего, есть ли хотя одна ветвь, от которой смели бы мы отвязаться для спасения?

Впечатление, произведенное над Элеонорою священнодействием столь печальным, казалось, утомило ее. Она заснула сном довольно спокойным; пробудившись, она менее страдала! Я был один в её комнате. Мы друг с другом говорили по временам и по долгим расстановкам. Доктор, который

в своих предположениях показался мне достовернее, предсказал мне, что она не проживет суток. Я смотрел, поочередно, на стенные часы и на лицо Элеоноры, на коем не замечал никакого нового изменения. Каждая истекающая минута оживляла мою надежду, и я начинал сомневаться в предсказаниях искусства обманчивого. Вдруг Элеонора воспрянула движением скоропостижным; я удержал ее в объятиях моих. Судорожная дрожь волновала все тело её; глаза её искали меня; но в глазах её изображался испуг неопределенный, как будто просила она о помиловании у чего-то грозного, укрывавшагося от моих взоров. Она приподымалась, она падала; видно было, что она силится бежать. Можно было думать, что она борется с владычеством физическим невидимым, которое, наскучив ждать мгновения рокового, ухватило ее и держало, чтобы довершить ее на сей постеле смертной. Наконец, уступила она озлоблению природы враждующей: члены её расслабли. Казалось, она несколько пришла в память; она пожала мою руку. Ей хотелось говорить – уже не было голоса. Как будто покорившись, она склонила голову свою на руку, ее поддерживающую; дыхание её становилось медленнее. Прошло еще несколько минут, и её уже не стало.

Я стоял долго неподвижен близь Элеоноры безжизненной. Убеждение в её смерти не проникло еще в мою душу. Глаза мои созерцали с тупым удивлением сие тело неодушевленное. Одна из женщин, вошедшая в комнату, разгласила по дому бедственное известие. Шум, раздавшийся кругом, вы-

вел меня из оцепенения, в которое я был погружен; я встал. Тогда только ощутил я скорбь раздирающую и весь ужас прощания безвозвратного. Столько движения, сей деятельности жизни ежедневной, столько забот, столько волнения, которые уже все были чужды ей, рассеяли заблуждение, которое я продлить хотел – заблуждение, по которому я думал, что еще существую с Элеонорою. Я почувствовал, как преломилось последнее звено, как ужасная действительность стала навсегда между нею и мною, как тягчила меня сия свобода, о которой прежде я так сетовал, как доставало сердцу моему той зависимости, против которой я часто возмущался! Недавно мои все деяния имели цель: каждым из них я уверен был отклонить неудовольствие, или доставить радость. Тогда я жаловался на это; мне досаждало, что дружеские взоры следят мои поступки, что счастье другого в нем привязано. Никто теперь не сторожил за ними, никто о них не заботился. У меня не оспаривали ни времени, ни часов моих; никакой голос не звал меня, когда я уходил. Я был действительно свободен; я уже не был любим – я был чужой всему свету.

По воле Элеоноры принесли мне все бумаги её. На каждой строке встречал я новые доказательства любви и новые жертвы, кои она мне принесла и сокрывала от меня. Я нашел, наконец, то письмо, которое обещался было сжечь, я сначала не узнал его: оно было без надписи и раскрыто. Несколько слов поразили взоры мои против моей воли. Напрасно покушался я отвести их от него: я не мог воспротивиться потребо-

сти прочитать письмо вполне. Не имею силы переписать его. Элеонора начертала его после одной из бурных сшибок наших, незадолго до болезни её. Адольф, говорила она мне, зачем озлобились вы против меня? В чем мое преступление? В одной любви моей к вам, в невозможности жить без вас! По какому своенравному состраданию не смее вы сокрушить узы, которые вам в тягость, и раздираете существо несчастное, при котором сострадание вас удерживает. Почему отказываете на мне в грустном удовольствии почитать вас, по крайней мере, великодушным? Зачем являетесь бешеным и слабым? Мысль о скорби моей вас преследует; зрелище сей скорби не может вас остановить. Чего вы требуете? Чтобы я вас покинула? Или не видите, что недостает мне силы на это? Ах, вам, которые не любите, вам найти эту силу в сердце усталом от меня, и которое вся любовь моя обезоружить не может! Вы мне не дадите этой силы: вы заставите меня изныть в слезах моих и умереть у ваших ног. Скажите слово, писала она в другом месте, – есть ли край, куда я не последовала бы за вами? Есть ли потаенное убежище, куда я не сокрылась бы жить при вес, не быв бременем в жизни вашей? Но нет, вы не хотите того. Робкая и трепетная, потому что вы меня оковали ужасом, предлагаю ли вам виды свои для будущего – вы их все отвергаете с досадою. Легче всего я добивалась от вас молчания вашего. Такая жестокость несходна с вашим нравом. Вы добры; ваши поступки благородны и бескорыстны. Но какие поступки могли бы изгладить ваши

слова? Сии язвительные слова звучат вокруг меня. Я слышу их ночью; они гоняются за мною, они меня пожирают; они отравляют все, что вы ни делаете. Должно ли мне умереть, Адольф? Пожалуй, вы будете довольны. Она умрет, сие бедное создание, которому вы покровительствовали, но которое разите повторенными ударами. Она умрет, сия докучная Элеонора, которую не можете выносить при себе, на которую смотрите, как на препятствие, для которой не находите на земле места вам не в тягость. Она умрет. Вы пойдете одни посреди сей толпы, в которую вам так не терпится вмешаться. Вы узнаете людей, которых ныне благодарите за их равнодушие – и, может быть, некогда, смятые сими сердцами черствыми, вы пожалеете о сердце, которым располагали; о сердце, жившем привязанностью к вам, всегда готовом на тысячу опасностей для защиты вашей; о сердце, которое уже не удостоиваете награждать ни единым взглядом.

Письмо к издателю

Возвращаю вам, милостивый государь, рукопись, которую вам угодно было мне поверить. Благодарю вас за это снисхождение, хотя и пробудило оно во мне горестные воспоминания, изглаженные временем. Я знал почти все лица, действовавшие в сей повести, слишком справедливой, и видал часто своенравного и несчастного Адольфа, который был автором и героем оной. Я несколько раз покушался оторвать советами моими сию прелестную Элеонору, достойную участи счастливейшей и сердца постоянного, от человека пагубного, который, не менее её бедствующий, владычествовал ею каким-то волшебством и раздирал ее слабостью своею. Увы, когда я виделся с нею в последний раз, я полагал, что дал ей несколько силы, что вооружил рассудок её против сердца! После слишком долгого отсутствия, я возвратился к местам, где оставил ее – и нашел один только гроб.

Вам должно бы, милостивый государь, напечатать сию повесть. Она отныне не может быть никому оскорбительна и была бы, по моему мнению, не бесполезна. Несчастье Элеоноры доказывает, что самое страстное чувство не может бороться с порядком установленным. Общество слишком самовластно. Оно выказывается в стольких изменениях; оно придает слишком много горечи любви, не освященной им; оно благоприятствует сей склонности к непостоянству и сей

усталости нетерпеливой, недугам души, которые захватывают ее иногда скоропостижно посреди нежной связи. Равнодушные с редким усердием спешат быть досадниками во имя нравственности и вредными из любви к добродетели. Подумаешь, что зрелище привязанности им в тягость, потому что они не способны к оной, и когда могут они воспользоваться предложением, они с наслаждением поражают и губят ее. И так, горе женщине, опершейся на чувство, которое все стремится отравить, и против коего общество, когда не вынуждено почитать его законность, вооружается всем, что есть порочного в сердце человеческом, чтобы охладить все, что есть доброго.

Пример Адольфа будет не менее назидателем, если вы добавите, что, отразив от себя существо, его любившее, он не переставал быть беспокойным, смутным, недовольным, что он не сделал никакого употребления свободы, им вновь приобретенной ценою стольких горестей и стольких слез, и что, оказавшись достойным порицания, оказался он так же и достойным жалости!

Если вам нужны доказательства, прочтите, милостивый государь, сии письма, которые вам поведают участь Адольфа. Вы увидите его в обстоятельствах различных и всегда жертвою сей смеси эгоизма и чувствительности, которые сливались в нем, к несчастию его и других, Предвидя зло до совершения оного, и отступающий с отчаянием, совершив его; наказанный за свои благия качества еще более, нежели

за порочные, – ибо источник первых был в его впечатлениях, а не в правилах, поочередно, то самый преданный, то самый жестокосердый из людей, но всегда кончавший жестокосердием то, что начато было преданностью, он оставил по себе следы одних своих проступков.

Ответ

Так, милостивый государь, я издам рукопись, возвращенную вами (не потому, что думаю согласно с вами о пользе, которую она принести может: каждый только своим убытком изучается в здешнем свете, и женщины, которым рукопись попадетя, вообразят все, что они избрали не Адольфа, или что они лучше Элеоноры; но я ее выдам, как повесть довольно истинную о нищете сердца человеческого). Если она заключает и себе урок поучительный, то сей урок относится к мущинам. Он доказывает, что сей ум, которым столь тщеславятся, не помогает ни ни находить ни давать счастья; он понимает, что характер, твердость, верность доброта суть дары, которых должно просить от неба, и я не называю добротою сего сострадания переходчивого, которое не покоряет нетерпения и не препятствует ему раскрыть язвы, на минуту залеченные сожалением. Главное дело в жизни есть скорбь, которую наносим, и самая замысловатая метафизика не оправдает человека, разодравшего сердце, его любившее. Ненавижу, впрочем, сие самохвальство ума; который думает, что все

изъяснимое уже извинительно; ненавижу сию суетность, занятую собою, когда она повествует о вреде, ею совершенном, которая хочет заставить сожалеть о себе, когда себя описывает и, паря неразрушимая посреди развалин, старается себя исследовать, вместо того, чтобы раскаиваться. Ненавижу сию слабость, которая обвиняет других в собственном своем бессилии и не видит, что зло не в окружающих, а в ней самой. Я угадал бы, что Адольф был за характер свой наказан самим характером своим, что он не следовал никакой стезе определенной, не совершил никакого подвига полезного, что он истощил свои способности без направления иного, кроме своенравия, без силы, кроме раздражения; я угадал бы все это, если бы вы и не доставили мне об участии его новых подробностей, коими, не знаю еще, воспользуюсь, или нет. Обстоятельства всегда маловажны: все в характере. Напрасно разделяешься с предметами и существам внешними: с собою разделаться невозможно. Меняешь положение, но переносишь в каждое скорбь, от коей отвязаться надеялись; перемещая себя, не исправляешься, и потому прибавляешь только угрызения к сожалениям и проступки к страданиям.